

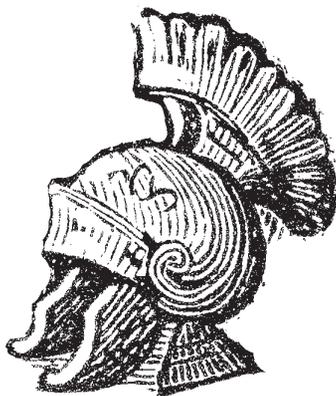
БОЛЬШАЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
СЕРИЯ

РАФАЭЛО ДЖОВАНЬОЛИ





*Историческое повествование
из VII века римской эры*



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2016

УДК 821.161.1
ББК 84. (Итал.) 6-5
Д42

Перевод с итальянского

А. Ясной

Стихи в переводе

С. Головой

Рисунок на переплете

О. Бабкина

Джованьоли Рафаэлло

Д42 Спартак. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. — 539 с.: ил. — (Большая иллюстрированная серия).

ISBN 978-5-9922-2243-2

«Спартак» Рафаэлло Джованьоли (1838—1915) — один из лучших исторических романов мировой литературы.

Это роман о крупнейшем в истории Римской империи восстании рабов, о его предводителе, римском гладиаторе, имя которого стало символом стремления к свободе, роман о героях и злодеях, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о радости побед и горечи поражений.

В настоящем издании публикуются 102 иллюстрации, сделанные к этому произведению известным итальянским художником-баталистом Николо Санези (1818—1889).

УДК 821.161.1
ББК 84. (Итал.) 6-5

ISBN 978-5-9922-2243-2

© Перевод стихов С. Головой, 2011
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016

Капрера, 25 июня 1874 г.

Дорогой мой Джованьоли,

Я залпом прочел вашего «Спартака» несмотря на то, что у меня совсем нет времени для чтения; я от него в восторге и восхищен вами.

Надеюсь, что наши сограждане оценят великие достоинства этого произведения и, читая его, убедятся в необходимости сохранять непоколебимую стойкость, когда речь идет о борьбе за святое дело свободы.

Вы, римлянин, описали не лучший, но наиболее блестящий период истории величайшей республики — период, когда надменные властелины мира начинали уже погрязать в тине порока и разврата, но, несмотря на то что это поколение было источено испорченностью и разложением, оно породило исполинов, равных которым не было ни у одного из предыдущих поколений, ни у одного народа и ни в одну эпоху.

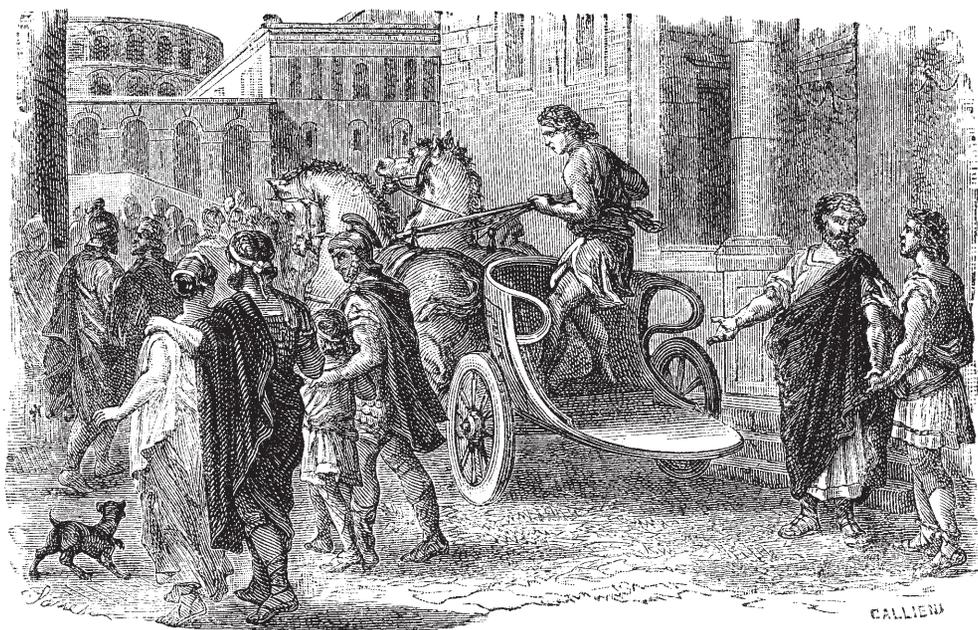
«Из всех великих людей величайшим был Цезарь», — сказал знаменитый философ. И действительно, деяния Цезаря возвеличили описанную вами эпоху.

Вы изваяли Спартака, этого Христа — искупителя рабов, резцом Микеланджело. Я, как раб, получивший свободу, благодарю вас за это, а также за то глубокое волнение, которое я испытал, читая ваше произведение.

Не раз слезы катились из глаз моих, не раз чудесные подвиги рудиярия приводили меня в волнение, и я был немало огорчен тем, что ваша повесть оказалась такой краткой.

Пусть же воспрянет дух наших сограждан при воспоминании о великих героях, почивших в нашей родной земле, земле, где больше не будет ни гладиаторов, ни господ.

Неизменно ваш
Джузеппе Гарибальди



Глава первая ЩЕДРОТЫ СУЛЛЫ

За четыре дня до ноябрьских ид (10 ноября) в 675 году римской эры, в пору консульства Публия Сервилия Ватия Исаврийского и Аппия Клавдия Пульхра, едва только стало светать, на улицах Рима начал собираться народ, прибывавший из всех частей города. Все шли к Большому цирку. Из узких и кривых, густо населенных переулков Эсквилина и Субуры, где жил преимущественно простой люд, валила разношерстная толпа, люди разного возраста и положения; они наводняли главные улицы города — Табернолу, Гончарную, Новую и другие, направляясь в одну сторону — к цирку.

Ремесленники, неимущие, отпущенники, отмеченные шрамами старики-гладиаторы, нищие, изувеченные ветераны гордых легионов — победителей Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, шуты, комедианты, танцовщицы и стайки резвых детей двигались нескончаемой чередой. Оживленные веселые лица, беззаботная болтовня, остроты и шутки свидетельствовали о том, что люди спешат на всенародное излюбленное зрелище.

Вся эта пестрая и шумная многочисленная толпа наполняла великий город каким-то неясным, смутным, но веселым гулом, с которым могло бы сравниться лишь жужжание тысяч ульев, расставленных на улицах.

Римляне сияли от удовольствия; их нисколько не смущало небо, покрытое серыми, мрачными тучами, предвещавшими дождь, а отнюдь не хорошую погоду.

С холмов Латия и Тускула дул довольно холодный утренний ветер и пощипывал лица. Многие из граждан натянули на голову капюшоны плащей, другие надели широкополые шляпы или круглые войлочные шапки; мужчины старались закутаться поплотнее в зимние плащи и тоги, а женщины — в длинные просторные стóлы и паллии.

Цирк, построенный в 138 году от основания Рима первым из царей, Тарквинием Древним, после взятия Апиол был расширен и разукрашен последним из царей, Тарквинием Гордым; он стал называться Большим с 533 года римской эры, когда цензор Квинт Фламиний выстроил другой цирк, названный его именем.

Большой цирк, воздвигнутый в Мурсийской долине между Палатинским и Авентинским холмами, к началу описываемых событий еще не достиг того великолепия и тех обширных размеров, какие придали ему Юлий Цезарь, а затем Октавиан Август. Все же это было грандиозное и внушительное здание, имевшее в длину две тысячи сто восемьдесят и в ширину девятьсот девяносто восемь римских футов; в нем могло поместиться свыше ста двадцати тысяч зрителей.

Цирк этот имел почти овальную форму. Западная часть его была срезана по прямой линии, а восточная замыкалась полукругом. В западной части был расположен оппидум — сооружение с тринадцатью арками, под средней находился главный вход — так называемые Парадные ворота; через них перед началом ристалищ на арену входила процессия, несшая изображения богов. Под остальными двенадцатью арками расположены были конюшни, или «камеры», в которых ставили колесницы и лошадей, когда в цирке происходили бега, а в дни кровопролитных состязаний, любимого зрелища римлян, там находились гладиаторы и дикие звери. От оппидума амфитеатром шли многочисленные ряды ступенек, служивших скамьями для зрителей; ступеньки пересекались лестницами: зрители всходили по ним, чтобы занять свои места. К этим лестницам примыкали другие, по которым народ направлялся к многочисленным выходам из цирка.

Вверху ряды оканчивались аркадами, предназначенными для женщин, которые пожелали бы воспользоваться этим портиком.

Против Парадных ворот устроены были Триумфальные ворота, через которые входили победители, а с правой стороны оппидума были расположены Ворота смерти; через эти мрачные ворота служащие цирка при помощи длинных багров убирали с арены изуродованные и окровавленные тела убитых или умирающих гладиаторов.

На площадке оппидума находились скамьи для консулов, высших должностных лиц, для весталок и сенаторов, тогда как остальные места ни для кого особо не предназначались и не распределялись.

По арене между оппидумом и Триумфальными воротами тянулась низкая стена длиной приблизительно в пятьсот футов, именованная хребтом; она служила для определения дистанции во время бегов. На обоих ее концах было несколько столбиков, называемых метами. На середине «хребта» возвышался обелиск солнца, а по обеим его сторонам расположены были колонны, жертвенники и статуи, среди которых стояли статуи Цереры и Венеры Мурсийской.

Внутри цирка по всей его окружности шел парапет высотой в восемнадцать футов, он назывался подиумом. Вдоль него пролегал ров, наполненный водой и огороженный железной решеткой. Все это предназначалось для охраны зрителей от возможного нападения диких зверей, которые рычали и свирепствовали на арене.

Таково было в 675 году это грандиозное римское сооружение, предназначенное для зрелищ. В огромное здание цирка, вполне достойное народа, чьи победоносные орлы, уже облетели весь мир, устремилась, ежечасно, ежеминутно увеличиваясь, нескончаемая толпа не только плебеев, но и всадников, патрициев, матрон; вид у всех был беззаботный, как у людей, которых ждет веселая и приятная забава.

Что же происходило в этот день? Что праздновалось? Какое зрелище привлекло в цирк такое множество народа?

Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии, человек, наводивший страх на весь Рим, — быть может, для того, чтобы отвлечь свои мысли от неисцелимой кожной болезни, которая мучила его уже два года, — велел объявить несколько недель назад, что в продолжение трех дней римский народ будет пировать за его счет и наслаждаться зрелищами.

Уже накануне на Марсовом поле и на берегу Тибра восседали римские плебеи за столами, накрытыми по приказу свирепого диктатора. Они шумно угощались до самой ночи, а затем пир перешел в разнузданную оргию. Заклятый враг Гая Мария устроил это пиршество с неслыханной, царской пышностью; в триклинии, наскоро сооруженном под открытым небом, римлянам подавались в изобилии самые изысканные кушанья и тонкие вина.

Сулла Счастливый проявил неслыханную щедрость: на эти празднества и игры, устроенные в честь Геркулеса, он пожертвовал десятую часть своих богатств. Избыток приготовленных кушаний был так велик, что ежедневно огромное количество яств бросали в реку; вина подавали сорокалетней и большей давности.

Так Сулла дарил римлянам левой рукой часть тех богатств, которые награбила его правая рука. Квириты, в глубине души смертельно ненавидя

Луция Корнелия Сулла, принимали, однако, с невозмутимым видом угощение и развлечения, которые устраивал для них человек, страстно ненавидевший весь римский народ.

День вступал в свои права. Животворные лучи солнца то тут, то там прорывались сквозь тучи и, разгораясь, золотили вершины десяти холмов, храмы, базилики и беломраморные стены патрицианских дворцов. Солнце согрело благодатным теплом плебеев, разместившихся на скамьях Большого цирка.

В цирке уже сидело свыше ста тысяч граждан в ожидании самых излюбленных римлянами зрелищ: кровопролитного сражения гладиаторов и боя с дикими зверями.

Среди этих ста тысяч зрителей восседали на лучших местах матроны, патриции, всадники, откупщики, менялы, богатые иностранцы, которые приезжали со всех концов Италии и стекались со всего света в Вечный город.

Несмотря на то что баловни судьбы являлись в цирк позже неимущего люда, им доставались лучшие и более удобные места. Среди разнообразных и малоутомительных занятий многих римских граждан, у которых зачастую не было хлеба, а временами и крова, но которых никогда не покидала гордость, всегда готовых воскликнуть: «*Noli me tangere — civis romanus sum!*» («Не прикасайтесь ко мне — я римский гражданин!»), была одна своеобразная профессия, заключающаяся в том, что нищие бездельники заблаговременно отправлялись на публичное зрелище и занимали лучшие места для богатых граждан и патрициев; те приезжали в цирк, когда им заблагорассудится, и, заплатив три или четыре сестерция, получали право на хорошее место.

Трудно вообразить ту величественную картину, какую являл собою цирк, заполненный более чем стотысячной толпой зрителей обоего пола, всех возрастов и всякого положения. Представьте себе красивые переливы красок разноцветных одежд — латиклав, ангустиклав, претекст, стол, туник, пеплумов, паллиев; шум голосов, похожий на подземный гул вулкана; мелькание голов и рук, подобное яростному и грозному волнению бурного моря! Но все это может дать только отдаленное понятие о той великолепной, несравненной картине, которую представлял собою в этот час Большой цирк.

То тут, то там простолоудины, сидевшие на скамьях, извлекали запасы захваченной из дома провизии. Ели с большим аппетитом — кто ветчину, кто холодное вареное мясо или кровяную колбасу, а кто пироги с творогом и медом или сухари. Еда сопровождалась всяческими шутками и прибаутками, не очень пристойными остротами, беззаботной болтовней, громким хохотом и возлияниями вин: велитернского, массикского, тускульского.

Повсюду шла бойкая торговля: продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков сбывали свой товар плебеям, раскупавшим эти дешевые лакомства, чтобы побаловать своих жен и детей. А затем благодушно настроенным покупателям приходилось, разумеется, подзывать и продавцов вина, чтобы утолить жажду, вызванную жареными бобами. Они пили налитую в стаканчики кислятину, которую разносчики без зазрения совести выдавали за тускульское.

Семьи богачей, всадников и патрициев, держась отдельно от плебса, вели веселую, оживленную беседу, выказывая подчеркнутое достоинство в манерах.

Разодетые в пух и прах щеголи расстилали циновки и ковры на жестких каменных сиденьях, держали раскрытые зонты над головами прекрасных матрон и очаровательных девушек, оберегая их от жгучих лучей солнца.

В третьем ряду, почти у самых Триумфальных ворот, между двумя патрициями сидела матрона блистательной красоты. Гибкий стан, стройная фигура, прекрасные плечи свидетельствовали о том, что это была истинная дочь Рима.

Правильные черты лица, высокий лоб, тонкий красивый нос, маленький рот, губы, на которых, казалось, горело желание страстных поцелуев, и большие черные живые глаза — все в этой женщине дышало неизъяснимым очарованием. Черные, как вороново крыло, густые и мягкие кудри падали ей на плечи и были скреплены надо лбом диадемой, осыпанной драгоценными камнями. Туника из белой тончайшей шерсти, обшитая внизу золотой полосой, обрисовывала ее прелестную фигуру. Поверх туники, ниспадавшей красивыми складками, был накинута белый паллий с пурпурной каймой.

Этой роскошно одетой красавице не было, вероятно, еще и тридцати лет; то была Валерия — дочь Луция Валерия Мессалы, единоутробная сестра Квинта Гортензия, знаменитого оратора, соперника Цицерона, который стал консулом в 685 году. За несколько месяцев до начала нашего повествования Валерия была отвергнута мужем под благовидным предлогом ее бесплодия; в действительности же причиной развода были ходившие по Риму слухи о ее скандальном поведении. Молва считала Валерию распутной женщиной, ей приписывали не слишком целомудренные отношения со многими поклонниками. Как бы то ни было, при разводе были соблюдены приличия, и честь Валерии не пострадала.

Рядом с Валерией сидел Эльвий Медуллий — существо длинное, бледное, худое, холеное, прилизанное, надушенное, напомаженное и разукрашенное; все пальцы его были унизаны золотыми кольцами с самоцветными камнями, с шеи спускалась золотая цепь с фалерами тонкой работы. Элегантный наряд дополняла тросточка из слоновой кости, которой Медуллий играл весьма изящно.

На неподвижном и невыразительном лице аристократа лежала печать скуки и апатии; ему было только тридцать пять лет, а уже все на свете ему надоело. Эльвий Медуллий принадлежал к высшей римской знати, изнеженной, проводившей жизнь в кутежах и празднествах и предоставлявшей плебеям право сражаться и умирать за отечество и его славу. Высокородные олигархи возлагали на простолюдинов заботу покорять царства и народы, а на себя брали только труд жить в роскоши и праздности, проматывать родовые богатства или же грабить провинции, которыми они управляли.

По другую руку Валерии Мессалы сидел Марк Деций Цедиций, патриций лет пятидесяти, с открытым веселым и румяным лицом, приземистый, коренастый толстяк с брюшком; выше всего он почитал утеху чревоугодия и большую часть времени проводил за столом в триклинии. Полдня у него уходило на отведывание изысканнейших лакомых блюд и соусов, приготовляемых его знаменитым поваром, который славился своим искусством на весь Рим; вторую половину дня этот патриций занят был мыслями о вечерней трапезе и предвкушением радостей, которые он снова испытает в триклинии. Словом, Марк Деций Цедиций, переваривая обед, мечтал об ужине.

Спустя несколько времени сюда пришел и Квинт Гортензий, чье красноречие снискало ему мировую славу.

Квинту Гортензию не было еще тридцати шести лет. Он посвятил много времени и труда изучению пластики, различных приемов выражения мыслей и достиг столь высокого совершенства в искусстве сочетать жесты с речью, что, где бы он ни появлялся — в сенате ли, в триклинии ли, в любом другом месте, — каждое его движение было исполнено достоинства и благородства, которое казалось врожденным и поражало всех. Одежда его неизменно была темного цвета, но зато складки латиклава ниспадали так гармонично и были уложены так обдуманно, что выгодно оттеняли его красоту и величавость осанки.

К этому времени он уже успел отличиться в сражениях против италийских союзников в Марсийской, или гражданской, войне и за два года получил сначала чин центуриона, а затем и трибуна.

Надо сказать, что Гортензий выделялся не только ученостью и высоким даром слова, — он был также искуснейшим актером; половиной своего успеха Гортензий обязан был прекрасно звучащему голосу и тонким декламаторским приемам, которыми он владел в совершенстве и пользовался так умело, что известнейший трагик Эзоп и знаменитый Росций спешили на Форум, когда он произносил речь: оба пытались постигнуть тайны декламаторского искусства, которыми Гортензий пользовался с таким блеском.

Пока Гортензий, Валерия, Эльвий и Цедиций вели беседу и, по выражению Валерией желанию, вольноотпущеннику было приказано принести таблички, на которых значились имена гладиаторов, сражавшихся в тот день, процессия жрецов с изображениями богов уже обошла «хребет», и на его площадке были установлены эти изображения.

Неподалеку от того места, где сидела Валерия и ее собеседники, стояли два подростка, одетые в претексты — белые тоги с пурпурной каймой; мальчиков сопровождал воспитатель. Одному из его питомцев было четырнадцать лет, другому двенадцать, и обоих отличал чисто римский склад лица — худощавого с резкими чертами и широким лбом. Это были Цепион и Катон из рода Порциев, внуки Катона Цензора, который прославился во время второй Пунической войны непримиримой враждой к Карфагену, — он требовал, чтобы Карфаген был разрушен во что бы то ни стало.

Младший из братьев, Цепион, казавшийся более разговорчивым и приветливым, часто обращался к своему воспитателю Сарпедону, тогда как юный Марк Порций Катон стоял молчаливый и надутый, с брюзгливым, сердитым видом, совсем не соответствовавшим его возрасту. Уже с ранних лет он обнаруживал непреклонную волю, стойкость и непоколебимость убеждений. Рассказывали, что, когда ему было еще только восемь лет, Марк Помпедий Силон, один из военачальников во время войны итальянских городов против Рима за права гражданства, явился в дом дяди мальчика, Друза, схватил Катона и поднес к окну, угрожая выбросить его на мостовую, если он откажется просить дядю за итальянцев. Помпедий тряс его и грозил, но ничего не добился: Марк Порций Катон не проронил ни слова, не сделал ни одного движения, ничем не выразил согласия или страха. Врожденная твердость духа, изучение греческой философии, в особенности философии стоиков, и подражание суровому деду выработали у этого четырнадцатилетнего юноши характер доблестного гражданина. Впоследствии он лишил себя жизни после сражения в Утике, унеся в могилу поверженное знамя латинской свободы, в которое он завернулся, как в саван.

Над Триумфальными воротами, неподалеку от одного из выходов, сидел, также со своим наставником, мальчик из другой патрицианской семьи, с воодушевлением разговаривавший с юношей лет семнадцати. Хотя юноша и был одет в тогу, которую полагалось носить по достижении совершеннолетия, над губой у него едва пробивался пушок. Он был небольшого роста, болезненный и слабенький, но на бледном лице, обрамленном черными блестящими волосами, сияли большие черные глаза; в них светился высокий ум.

Этот семнадцатилетний юноша был Тит Лукреций Кар. Он происходил из знатного римского рода и впоследствии обессмертил свое имя поэмой «О природе вещей». Его собеседнику, сильному и смелому двенадцатилет-

нему мальчику, Гаю Кассию Лонгину, сыну бывшего консула Кассия, было суждено сыграть одну из самых заметных ролей в событиях, предшествовавших падению республики.

Лукреций и Кассий вели оживленную беседу. Будущий великий поэт последние два-три года часто бывал в доме Кассия, научился ценить в юном Лонгине его острый ум и благороднейшую душу и сильно привязался к нему. Кассий также любил Лукреция, их влекли друг к другу одни и те же чувства и стремления, оба они одинаково мало ценили жизнь, одинаково относились к людям и богам.

Поблизости от Лукреция и Кассия сидел Фавст, сын Суллы, хилый, худой рыжеволосый подросток; с его бледного лица еще не сошли синяки и ссадины — следы недавней драки; голубые его глаза смотрели злобно и спесиво — ему льстило, что на него указывают пальцем как на счастливого сына счастливого диктатора.

На арене сражались с похвальным жаром, хотя и без ущерба для себя, молодые, еще необученные гладиаторы, вооруженные учебными палицами и деревянными мечами. Этим зрелищем развлекали зрителей до прибытия консулов и Суллы, устроившего для римлян любимую забаву и развлечение.

Бескровное сражение, однако, не доставляло никому удовольствия и никого не интересовало, кроме ветеранов-легионеров и рудиариев, оставшихся в живых после сотни состязаний. Вдруг по всему огромному амфитеатру гулко прокатились шумные и довольно дружные рукоплескания.

— Да здравствует Помпей!.. Да здравствует Гней Помпей!.. Да здравствует Помпей Великий! — восклицали тысячи зрителей.

Помпей, вошедший в цирк, занял место на площадке оппидума, рядом с весталками, которые собрались тут в ожидании кровавого зрелища, столь любимого этими девственницами, посвятившими себя культу богини целомудрия. Помпей приветствовал народ изящным поклоном и, поднося руки к губам, в знак благодарности посылал поцелуи.

Гнею Помпею было около двадцати восьми лет; он был высок ростом, крепкого, геркулесовского сложения; густые волосы, покрывавшие его крупную голову, росли на лбу очень низко, чуть не срастаясь с бровями, нависшими над большими черными глазами красивого миндалевидного разреза; впрочем, глаза у него были малоподвижны и невыразительны; строгие и резкие черты лица и могучие формы тела создавали впечатление мужественной красоты. Конечно, внимательно присмотревшись к его неподвижному лицу, наблюдатель нашел бы, что на нем не отразились великие мысли и деяния человека, который в течение двадцати лет занимал первое место в Римской империи. Как бы то ни было, уже в возрасте двадцати пяти лет он вернулся победителем из похода в Африку, заслужил триумф и даже самим Суллой — вероятно, в минуту какого-то особого бла-

говоления — был назван *Великим*. Каково бы ни было мнение о Помпее, его заслугах, деяниях, удачах, но в тот день, когда он вошел в Большой цирк, 10 ноября 675 года, симпатии римского народа были на его стороне. В двадцать пять лет он уже был триумфатором и заслужил любовь своих легионов, состоявших из ветеранов, закаленных в невзгодах и опасностях тридцати сражений: они провозгласили его императором.

Может быть, подчеркнутое пристрастие к Помпею отчасти объяснялось тайной ненавистью плебеев к Сулле: не имея возможности проявить эту ненависть иным путем, они изливали ее в бурных рукоплесканиях и похвалах молодому другу диктатора, единственному человеку, способному совершать ратные подвиги, равные подвигам Суллы.

Вслед за Помпеем прибыли консулы Публий Сервилий Ватий Исаврийский и Апхий Клавдий Пульхр, которые должны были оставить свои посты 1 января следующего года. Впереди Сервилия, исполнявшего обязанности консула в текущем месяце, шли ликторы, а впереди Клавдия, исполнявшего обязанности консула в прошлом месяце, шли ликторы с фасциями.

Когда консулы появились на площадке оппидума, в цирке все встали, чтобы выразить должное уважение к высшей власти в республике.

Сервилий и Клавдий опустились на свои места, вслед за ними сели и все зрители; сели и два будущих консула — Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катулл, которые выбраны были на следующий год в сентябрьских комициях.

Помпей приветствовал Сервилия и Клавдия, они ответили ему любезно, почти подобострастно; затем Помпей поднялся и подошел пожать руку Марку Лепиду, обязанному ему своим избранием: Гней Помпей использовал свою большую популярность в его пользу, вопреки желанию Суллы.

Лепид встретил молодого императора почтительными изъявлениями преданности; они стали беседовать; второму же консулу, Лутацию Катуллу, Помпей поклонился сдержанно и важно.

Несмотря на то что во время избрания консулов Сулла уже не был диктатором, он сохранил свое могущество и теперь употребил все свое влияние против кандидатуры Лепида, считая — и не напрасно, — что тот в душе был его противником и сторонником Гая Мария. Но именно эта оппозиция Суллы и благосклонная поддержка Помпея создали в комициях положение, при котором кандидатура Лепида взяла верх над кандидатурой Лутация Катулла, имевшего поддержку олигархической партии. За это Сулла упрекал Помпея и твердил, что он на выборах в консулы поддерживал худшего из граждан и препятствовал избранию лучшего.

Как только прибыли консулы, выступление молодых гладиаторов прекратилось, а те гладиаторы, которым действительно предстояло сражаться в этот день, приготовились к выходу из камер, чтобы, согласно обычаю, продефилировать перед властями; они ждали только сигнала.

Все глаза были устремлены на оппидум, все ждали, когда консулы подадут знак к началу боя. Но консулы, окидывая взглядом ряды амфитеатра, как будто искали кого-то, желая испросить разрешения. Действительно, они ждали Луция Корнелия Суллу, человека, сложившего с себя звание диктатора и все же оставшегося властителем Рима.

Наконец раздались рукоплескания — сначала слабые и редкие, затем все более шумные и дружные, отдаваясь эхом по арене. Взгляды присутствующих устремились к Триумфальным воротам, через которые, в сопровождении сенаторов, друзей и приверженцев, в это время входил Луций Корнелий Сулла.

Этому удивительному человеку было тогда пятьдесят девять лет. Он был довольно высок ростом, хорошо и крепко сложен; шел он медленно и вяло, как человек, силы которого истощились, — это было следствием непристойных оргий, которым он предавался всю жизнь, а теперь более, чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленной поступи была изнурительная и неизлечимая болезнь, наложившая на его черты, на весь его облик печать преждевременной и печальной старости.

Лик Суллы был поистине ужасен. Правда, черты его были правильны и гармоничны: высокий лоб, крупный нос с раздувающимися ноздрями, словно у льва, рот несколько большой, с выпуклыми властными губами. Его можно было бы назвать даже красивым, в особенности представив себе эти черты в обрамлении густых белокурых волос с рыжеватым оттенком; лицо это освещалось серо-голубыми глазами, живыми, глубокими и пронзительными. Это были светлые орлиные зеницы, но нередко они походили и на глаза гиены; в жестоком их взгляде можно было прочесть желание повелевать и жажду крови.

Когда Сулла воевал в Азии против Митридата, его попросили уладить спор, возникший между царем каппадокийским Ариобарзаном и царем парфянским, отправившим к нему своего посла Оробаза. Сулла был тогда только проконсулом, но, желая, чтобы первенство оставалось за Римом, а также и за ним самим, Суллой, он, явившись на аудиенцию, сел в среднее кресло из трех, поставленных в зале, ничуть не сомневаясь, что это почетное место предназначено именно ему; по правую руку он посадил Оробаза, представителя наиболее могущественного царя Азии, по левую — Ариобарзана. Парфянский царь почувствовал себя настолько оскорбленным и униженным, что по возвращении Оробаза казнил его. В посольской свите Оробаза был некий халдеец, знаток магии, который по лицам людей определял их душевные способности. Всмотревшись в черты Суллы, он подивился выразительному блеску его звериных глаз и сказал: «Этот человек непременно будет великим, и я удивлен, как он терпит, что до сих пор еще не стал первым среди людей».

Возвращаясь к Сулле, портрет которого мы здесь набросали, нам надо объяснить, почему мы назвали его лицо ужасным; оно было поистине ужасным: покрытое какой-то грязноватой сыпью, с рассеянными там и сям белыми пятнами, оно было похоже, согласно злой остроте одного афинского шутника, на лицо мавра, осыпанное мукой.

Если лицо Суллы было таким в молодости, то легко понять, каким страшным оно стало с годами; в жилах диктатора текла дурная золотушная кровь, а оргии, которым он усердно предавался, обострили болезнь. Белые пятна и струпья, уродовавшие его лицо, увеличились числом, и теперь уж все его тело было усеяно гнойными прыщами и язвами.

Ступая медленно, с видом пресыщенного человека, Сулла вошел в цирк. Вместо национального паллия или же традиционной тоги на нем была наброшена поверх туники из белоснежной шерсти, затканной золотыми арабесками и узорами, нарядная хламида огненно-красного цвета, отороченная золотом; на правом плече она скреплялась золотой застежкой, в которую были вправлены драгоценные камни, искрившиеся и переливавшиеся в лучах солнца. Сулла, презиравший весь род людской, и в особенности своих сограждан, был первым из немногих, надевших греческую хламиду. У него была палка с золотым набалдашником, на котором с величайшим искусством был выгравирован эпизод из битвы под Орхоменом в Беотии, где Сулла разбил наголову Архелая, наместника Митридата. Резчик изобразил, как коленопреклоненный Архелай сдается Сулле. На безымянном пальце правой руки диктатора было кольцо с большой камеей из кроваво-красной яшмы, оправленной в золото; на камне был изображен акт выдачи Бокхом царя Югурты. Сулла носил это кольцо не снимая до дня триумфа Гая Мария и постоянно хвастался им, что вполне соответствовало его характеру. Это кольцо стало первой искрой, зажегшей пламя пагубного раздора между Суллой и Марием.

При гrome рукоплесканий сардоническая улыбка искривила губы Суллы, и он вполголоса произнес:

— Рукоплещите, рукоплещите, глупые бараны!

В это время консулы подали сигнал к началу зрелищ; сто гладиаторов вышли из камер и колонной двинулись по арене.

В первом ряду выступали ретиарий и мирмиллон, которые должны были сражаться первыми, и хотя недалеко была та минута, когда одному из них было суждено убить другого, они шли, спокойно беседуя. За ними следовало девять лаквеаторов, в руках они держали трезубцы и сети, которые должны были накидывать на девятерых секуторов, вооруженных щитами и мечами; если секуторы не попадали в сети лаквеаторов, последние преследовали спасавшихся бегством секуторов.

Вслед за этими девятью парами шли тридцать пар гладиаторов: сражаться должны были по тридцать бойцов с каждой стороны, как бы повторяя

в малых размерах настоящее сражение. Тридцать из них были фракийцы, другие тридцать — самниты; все — красивые и молодые, рослые, сильные и мужественные люди.

Гордые фракийцы были вооружены короткими, кривыми мечами; в руках у них были небольшие квадратные щиты с выпуклой поверхностью, на головах — шлемы без забрала; это было их национальное вооружение. Все они были в коротких ярко-красных туниках, на их шлемах развевались по два черных пера. У тридцати самнитов было вооружение воинов народа Самния: короткий прямой меч, небольшой закрытый шлем с крыльями, маленький квадратный щит и железный наручник, закрывавший правую руку, не защищенную щитом, и, наконец, наколенник, который защищал левую ногу. Самниты были в голубых туниках, на шлемах у них развевались белые перья.

Шествие завершали десять пар андабатов в белых туниках; вооружены они были только короткими клинками, скорее похожими на ножи, чем на мечи; на головах их были шлемы с опущенными глухими забралами, в которых прорезаны были неправильно расположенные и чрезвычайно маленькие отверстия для глаз. Эти двадцать несчастных, брошенных на арену, сражаясь друг с другом, словно играли в жмурки; они долго развлекали публику, вызывая взрывы хохота, до тех пор, пока лорарии, подгоняя противников раскаленными железными прутьями, не сталкивали их вплотную, чтобы они убивали друг друга.

Сто гладиаторов обходили арену под рукоплескания и крики зрителей. Подойдя к тому месту, где сидел Сулла, они подняли голову и, согласно наставлению, данному ланистой Акцианом, воскликнули хором:

— Привет тебе, диктатор!

— Ну что ж, хороши! — заметил Сулла, обращаясь к окружающим. Он осматривал дефилировавших мимо него гладиаторов опытным взглядом победителя во многих сражениях. — Храбрые и сильные юноши! Нам предстоит красивое зрелище. Горе Акциану, если будет иначе! За эти пятьдесят пар гладиаторов он взял с меня двести двадцать тысяч сестерций, мошенник!

Процессия гладиаторов обошла арену цирка и, приветствовав консулов, вернулась в камеры. На арене, сверкающей, как серебро, остались лицом к лицу только два человека: мирмиллон и ретиарий.

Все затихло, и глаза зрителей устремились на двух гладиаторов, готовых к схватке. Мирмиллон, галл по происхождению, белокурый, высокий, ловкий и сильный красавец, в одной руке держал небольшой щит, а в другой — широкий и короткий меч, на голове у него был шлем, увенчанный серебряной рыбой. Ретиарий, вооруженный только трезубцем и сетью, одетый в простую голубую тунику, стоял в двадцати шагах от мирмиллона и, казалось, обдумывал, как лучше поймать его в сеть. Мирмиллон, подав-



— Привет тебе, диктатор!

шись корпусом вперед и опираясь на вытянутую левую ногу, держал меч почти прижатым к правому бедру, ожидая нападения.

Внезапно, сделав огромный прыжок, ретиарий очутился в нескольких шагах от мирмиллона и с быстротою молнии бросил на противника сеть. Но тот отскочил и, пригнувшись к самой земле, увернулся от сети, затем ринулся на ретиария, который, поняв свой промах, пустился стремительно бежать. Мирмиллон бросился преследовать его, но ретиарий, более ловкий, описав полный круг, успел добежать до того места, где лежала сеть, и подобрал ее. Едва он выпрямился, как мирмиллон настиг его, и в тот миг, когда он готов был обрушиться на ретиария страшный удар, тот повернулся и кинул на противника сеть, но мирмиллон на четвереньках отполз в сторону, быстрым прыжком вскочил на ноги, и ретиарий, уже направивший на него трезубец, только царапнул остриями по щиту галла. Тогда ретиарий снова бросился бежать.

Толпа недовольно загудела: она считала себя оскорбленной тем, что гладиатор осмелился выступать в цирке, не умея в совершенстве владеть сетью.

На этот раз мирмиллон, вместо того чтобы бежать за ретиарием, повернул в ту сторону, откуда мог ожидать приближения противника, и остановился в нескольких шагах от сети. Ретиарий, разгадав его маневр, помчался обратно, держась около «хребта» арены. Добежав до Триумфальных ворот, он перескочил хребет и очутился в другой части цирка, около своей сети. Мирмиллон, поджидавший его тут, набросился на него и стал наносить удары, а тысячи голосов кричали в ярости:

— Бей его, бей! Убей ретиария! Убей разиню! Убей труса! Убей, убей! Пошли его ловить лягушек на берегах Ахеронта!

Ободренный криками толпы, мирмиллон продолжал наступать на ретиария, а тот, сильно побледнев, старался держать противника на расстоянии, размахивал трезубцем, кружил вокруг мирмиллона, напрягая все силы и стараясь схватить свою сеть.

Неожиданно мирмиллон, подняв левую руку, отбил щитом трезубец и проскользнул под ним; его меч готов был поразить грудь ретиария, как вдруг последний ударил трезубцем по щиту противника и бросился к сети, однако недостаточно ловко и быстро: меч мирмиллона ранил его в левое плечо, брызнула сильной струей кровь. Но ретиарий все же убежал со своей сетью; сделав шагов тридцать, он повернулся к противнику и громко закричал:

— Рана легкая! Пустяки!..

Минуту спустя он стал напевать:

Красавец галл, приди, приди,
Ищу я рыбу в заводи,
А не тебя... Приди ж, приди!

Веселый взрыв смеха послышался после строфы, пропетой ретиарием; его хитрая выдумка удалась: он завоевал симпатии публики; раздались аплодисменты в честь безоружного, раненого, истекающего кровью человека, которому жизненный инстинкт подсказал, что надо найти в себе мужество шутить и смеяться.

Взбешенный насмешками противника, загоревшись завистью, ибо толпа явно выказывала теперь симпатию к ретиарию, мирмиллон с яростью набросился на него. Но ретиарий, отступая прыжками и ловко избегая ударов, крикнул:

— Приди, галл! Сегодня вечером я пошлю доброму Харону жареную рыбу!

Эта новая шутка еще больше развеселила толпу и вызвала новое нападение мирмиллона. На этот раз ретиарий очень удачно набросил свою сеть — его враг запутался в ней. Толпа неистово рукоплескала.

Мирмиллон, стараясь освободиться, все больше запутывался в сети; зрители громко хохотали. Ретиарий помчался к тому месту, где лежал трехзубец, поднял его и, возвращаясь бегом, закричал:

— Харон получит рыбу! Харон получит рыбу!

Однако когда он приблизился к своему противнику, тот отчаянным усилием могучих рук разорвал сеть, и она упала к его ногам, освободив ему руки. Он мог теперь встретить нападение врага, но двигаться ему было невозможно.



Толпа снова разразилась рукоплесканиями. Она напряженно следила за каждым движением, за каждым приемом противников. Исход поединка зависел от любой случайности. Лишь только мирмиллон разорвал сеть, ретиарий подбежал к нему и, изловчившись, нанес сильный удар трезубцем. Мирмиллон отразил удар с такой силой, что щит разлетелся на куски. Трезубец все-таки ранил гладиатора, брызнула кровь — на его обнаженной руке были теперь три раны. Но почти в то же мгновение мирмиллон схватил левой рукой трезубец и, бросившись всей тяжестью тела на противника, вонзил ему лезвие меча до половины в правое бедро. Раненый ретиарий, оставив трезубец в руках противника, побежал, обагрив кровью арену, и, сделав шагов сорок, упал на колено, затем рухнул навзничь. Мирмиллон, увлеченный силой удара и тяжестью своего тела, тоже свалился, затем поднялся, высвободил ноги из сетей и ринулся на упавшего противника.

Толпа бешено рукоплескала в эти последние минуты борьбы, рукоплескала и тогда, когда ретиарий, опираясь на локоть левой руки, приподнялся и обратил к зрителям свое лицо, покрытое мертвенной бледностью. Он приготовился бесстрашно и достойно встретить смерть и обратился к зрителям, прося даровать ему жизнь не потому, что надеялся спасти ее, а только следуя обычаю.

Мирмиллон поставил ногу на тело противника и приложил меч к его груди; подняв голову, он обводил глазами амфитеатр, чтобы узнать волю зрителей.

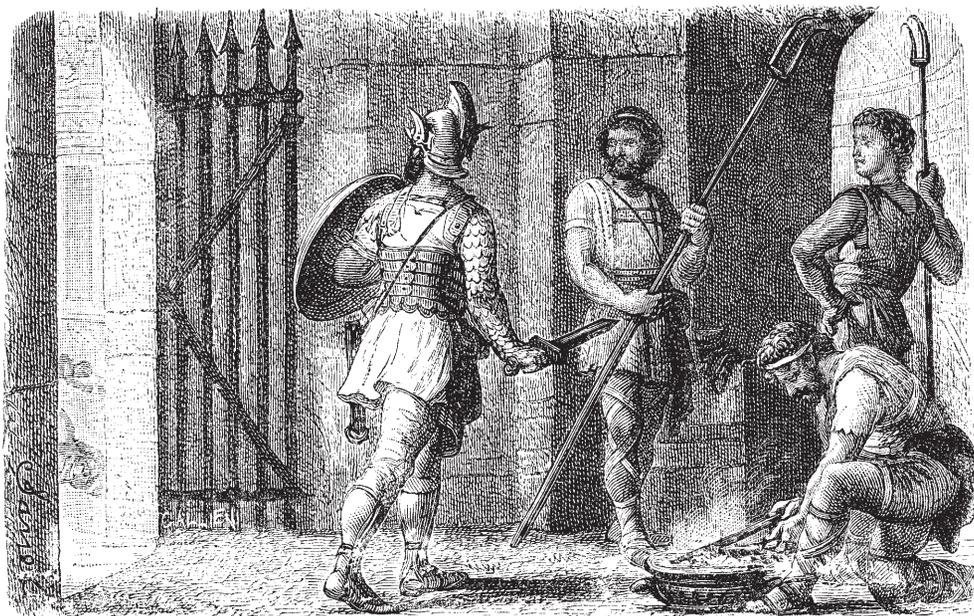
Свыше девяноста тысяч мужчин, женщин и детей опустили большой палец правой руки книзу: это был знак смерти, и меньше пятнадцати тысяч добросердечных людей подняли руку, сжав ее в кулак и подогнув большой палец, — в знак того, что побежденному гладиатору даруется жизнь.

Среди девяноста тысяч человек, обречших ретиария на смерть, были и непорочные, милосердные весталки, желавшие доставить себе невинное удовольствие: зрелище смерти несчастного гладиатора.

Мирмиллон уже приготовился прикончить ретиария, как вдруг тот, схватив меч противника, с силой вонзил его себе в сердце по самую рукоятку. Мирмиллон быстро вытащил меч, покрытый дымящейся кровью. Тело ретиария выгнулось в жестокой агонии, он крикнул страшным голосом, в котором уже не было ничего человеческого:

— Проклятые! — и мертвым упал навзничь.





Глава вторая СПАРТАК НА АРЕНЕ

Зрители неистово аплодировали. Все принялись обсуждать происшедшее; цирк гудел сотней тысяч голосов.

Мирмиллон вернулся в камеру, откуда вышли Плутон, Меркурий и служители цирка; они крюками вытащили с арены труп ретиария через Ворота смерти, прикоснувшись предварительно раскаленным железом к телу умершего, чтобы удостовериться в его смерти. Из небольших мешков, наполненных блестящим порошком толченого мрамора, доставленного из соседних Тиволийских карьеров, засыпали то место, где оставалась большая лужа крови, и арена снова засверкала, как серебро, под лучами солнца.

Толпа рукоплескала и выкрикивала:

— Да здравствует Сулла!

Сулла повернулся к своему соседу, Гнею Корнелию Долабелле, бывшему два года назад консулом, и сказал:

— Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, вот подлая чернь! Ты думаешь, она рукоплещет мне?.. Нет, моим поварам, приготовившим для них вчера вкусное и обильное угощение.

— Почему ты не занял место на оппидуме? — спросил Гней Долабелла.

— Не думаешь ли ты, что от этого возрастет моя слава? — ответил Сулла и тут же добавил: — А ведь товар, проданный мне ланистой Акцианом, недурен, а?

— О, как ты щедр, как ты велик! — воскликнул сидевший рядом с Суллой сенатор Тит Аквиций.

— Да поразит Юпитер-громовержец всех подлых льстецов! — вскричал бывший диктатор и, в ярости схватившись рукой за плечо, стал усиленно чесать его, пытаясь заглушить мучительный зуд, похожий на укусы отвратительных паразитов.

Через минуту он добавил:

— Я отказался от власти, ушел от дел, а вы все еще видите во мне своего господина! Презренные, вы можете жить только рабами!

— Не все, о Сулла, рождены для рабства, — смело возразил патриций из свиты Суллы, сидевший неподалеку от него.

Этот бесстрашный человек был Луций Сергей Катилина. В ту пору ему шел двадцать седьмой год. Природа наделила его высоким ростом, могучей грудью, широкими плечами, крепкими мышцами рук и ног. У него была большая голова с целой копной черных вьющихся волос, широкое в висках, смуглое и мужественное лицо с энергичными чертами; пересекая большой лоб, спускалась к самой переносице толстая набухшая вена; темно-серые глаза хранили выражение жестокости, а нервное подергивание, пробежавшее по этому властному, решительному лицу, раскрывало внимательному наблюдателю малейшие движения души Катилины.

К тому времени, о котором повествуется в этой книге, Луций Сергей Катилина снискал славу страшного человека, все боялись его вспыльчивого, необузданного нрава. Он убил патриция Гратициана, когда тот спокойно гулял по берегу Тибра, — убил только потому, что тот отказался дать под залог имущества Катилины крупную сумму денег, нужную ему для уплаты огромных долгов: из-за этих долгов Катилина не мог получить ни одной из государственных должностей, на которые притязал. То было время проскрипций, когда ненасытная жестокость Суллы утопила Рим в крови. Имя Гратициана не значилось в проскрипционных списках, — более того, он даже был сторонником Суллы, но был он очень богат, а имущество людей, занесенных в проскрипционные списки, подлежало конфискации. И когда Катилина притащил в курию, где заседал сенат, труп Гратициана и, бросив его к ногам диктатора, заявил, что он убил этого человека, как врага Суллы и врага родины, диктатор оказался не очень щепетильным: он посмотрел сквозь пальцы на убийство, обратив все свое внимание на несметные богатства убитого.

Вскоре после этого Катилина поссорился со своим братом, оба обнажили мечи, но Сергей Катилина, отличавшийся необычайной силой, был так же и первым фехтовальщиком в Риме. Он убил брата, наследовал его иму-

щество и тем спасся от разорения, к которому его привели расточительность, кутежи и разврат. Сулла и на сей раз постарался ничего не заметить, квесторы тоже не стали придирааться к братоубийце.

В ответ на смелые слова Катилины Луций Корнелий Сулла спокойно повернул голову в его сторону и сказал:

— А как ты думаешь, Катилина? Сколько в Риме граждан столь же смелых, как ты, и обладающих такой же, как ты, широтой души и в добродетели и в пороках?

— Не могу я, о прославленный Сулла, — ответил Катилина, — глядеть на людей и взвешивать события с высоты твоего величия. Знаю только, что я от рождения люблю свободу и не выношу никаких уз. И прямо скажу — ненавижу тиранию, хотя бы она скрывалась под маской великодушия, хотя бы ею пользовались лицемерно, якобы для блага родины. А ведь родина наша, даже раздираемая мятежами и междоусобными войнами, жила бы лучше под властью многих, чем под деспотической властью одного! И, не входя в разбор твоих действий, скажу тебе откровенно, что я, как и прежде, порицаю твою диктатуру. Я верю, я хочу верить, что в Риме есть еще немало граждан, готовых претерпеть любые муки, лишь бы снова не подпасть под тиранию одного человека, если он не будет называться Луцием Корнелием Суллой и чело его не будет увенчано, как твое, лаврами победы в сотнях сражений и если его диктатура хотя бы отчасти не будет оправдана, как была оправдана твоя диктатура, преступными деяниями Мария, Карбона и Цинны.

— Так почему же, — спокойно спросил Сулла с еле заметной насмешливой улыбкой, — почему же вы не призываете меня на суд перед свободным народом? Я отказался от диктатуры. Почему же мне не было предъявлено никаких обвинений? Почему вы не потребовали отчета в моих действиях?

— Дабы не видеть снова убийств и траура, которые в течение десяти лет омрачали Рим... Но не будем говорить об этом, в мои намерения не входит обвинять тебя: ты, быть может, совершил немало ошибок, зато ты совершил и много славных подвигов; воспоминания о них не перестают волновать мою душу, ибо, как и ты, Сулла, я жажду славы и могущества. А скажи все же, не кажется ли тебе, что в жилах римского народа все еще течет кровь наших великих и свободных предков? Вспомни, как несколько месяцев назад ты в курии, при всем сенате, добровольно сложил с себя власть и, отпустив ликторов и воинов, направился с друзьями домой — и как вдруг какой-то неизвестный юноша стал бесчестить и поносить тебя за то, что ты отнял у Рима свободу, истребил и ограбил его граждан и стал их тираном! О Сулла, согласишься, что нужно обладать непреклонным мужеством, чтобы произнести все то, что сказал он, — ведь тебе достаточно было только подать знак, и смельчак тотчас поплатился бы жизнью! Ты поступил великодушно, — я говорю это не из лести: Катилина не умеет и не же-

лает льстить никому, даже всемогущему Юпитеру! — ты поступил великодушно, не наказав его. Но ты согласен со мной: если у нас существуют безвестные юноши, способные на такой поступок, — я так жалею, что не узнал, кто он, — то есть надежда, что отечество и республика еще могут быть спасены!

— Да, это был, конечно, отважный поступок, а я всегда восхищался мужеством и любил храбрецов. Я не захотел мстить смельчаку за обиду и стерпел все его оскорбления и поношения. Знаешь ли ты, Катилина, какие последствия будут иметь поступок и слова этого юноши?

— Какие? — спросил Сергей Катилина, устремив испытующий взор в глаза диктатора, затуманенные в этот момент.

— Отныне, — ответил Сулла, — никто из тех, кому удастся захватить власть в республике, не пожелает от нее отказаться.

Катилина в раздумье опустил голову, затем, овладев собой, поднял ее и сказал:

— Найдется ли еще кто-нибудь, кто сумеет и захочет захватить высшую власть?

— Ну... — произнес, иронически улыбаясь, Сулла. — Видишь толпы рабов? — И он указал на ряды амфитеатра, переполненные народом. — В рабах нет недостатка... Найдутся и господа.

Весь этот разговор происходил под аккомпанемент бурных рукоплесканий толпы, увлеченной кровопролитным сражением происходившим на арене между лакваторами и секуторами; вскоре оно завершилось смертью семи лакваторов и пяти секуторов. Оставшиеся в живых гладиаторы, раненые и истекающие кровью, удалились в камеры, а зрители бешено аплодировали, смеялись и весело шутили.

В то время когда лорарии вытаскивали из цирка двенадцать трупов и уничтожали следы крови на арене, Валерия, внимательно наблюдавшая за Суллой, который сидел неподалеку от нее, вдруг поднялась и, подойдя к диктатору сзади, выдернула шерстяную нитку из его хламиды. Удивленный, он обернулся и, сверкнув своими звериными глазами, принялся рассматривать ту, которая прикоснулась к нему.

— Не гневайся, диктатор! Я выдернула эту нитку, чтобы иметь долю в твоём счастье, — произнесла Валерия с чарующей улыбкой.

Почтительно приветствуя его, она, по обычаю, поднесла руку к губам и направилась к своему месту. Сулла, весьма польщенный ее любезными словами, учтиво поклонился и, повернув голову, проводил красавицу долгим взглядом, которому постарался придать ласковое выражение.

— Кто это? — спросил Сулла, опять повернувшись в сторону арены.

— Это Валерия, — ответил Гней Корнелий Долабелла, — дочь Мессалы.

— А-а!.. — заметил Сулла. — Сестра Квинта Гортензия?

— Именно.

И Сулла вновь повернулся к Валерии, которая смотрела на него влюбленными глазами.

Гортензий встал со своего места и пересел поближе к Марку Крассу, очень богатому патрицию, известному своей скупостью и честолюбием — двумя противоречивыми страстями, прекрасно уживавшимися, однако, в этой своеобразной натуре.

Марк Красс сидел неподалеку от гречанки необыкновенной красоты; так как ей предстоит играть большую роль в нашем повествовании, задержимся на мгновение и поглядим на нее.

Звалась эта девушка Эвтибидой; по покрою одежды в ней можно было признать гречанку; сразу бросалась в глаза красота ее высокой и стройной фигуры. Талия была так тонка, что, казалось, ее можно было охватить двумя руками. Прелестное лицо поражало алебастровой белизной, оттененной нежным румянцем. Изящной формы лоб обрамляли кольца рыжих пушистых волос. Большие миндалевидные глаза цвета морской волны горели сладострастным огнем и непреодолимо влекли к себе. Чуть вздернутый, красиво очерченный носик как будто подчеркивал выражение дерзкой смелости, запечатлевшейся в ее чертах. Меж полуоткрытых, чувственных и слегка влажных алых губ сверкали белоснежные зубы — настоящие жемчужины, соперничавшие прелестью с очаровательной ямочкой на маленьком округлом подбородке. Белая шея казалась изваянной из мрамора, плечи были достойны Юноны, грудь была упругая и высокая, и пышность ее не вязалась с тонкой талией, но это придавало гречанке еще больше привлекательности. Кисти обнаженных точеных рук и ступни ног были крошечные, как у ребенка.

Поверх короткой туники из тончайшей белой ткани, густо затканной серебряными звездочками и уложенной изящными складками, под которыми угадывались, а иногда просвечивали скульптурные формы девушки, был накинута паллий из голубой шерсти, тоже весь в звездочках. На лбом волосы скрепляла небольшая диадема. В маленькие уши были вдеты две крупные жемчужины со сверкающими подвесками из сапфиров в форме звездочек. Шею обвивало жемчужное ожерелье, с которого на полуобнаженную грудь спускалась большая сапфировая звезда. Руки украшали четыре серебряных браслета с выгравированными на них цветами и листьями. Талию охватывал обруч с острым, угловатым концом, тоже из драгоценного металла. На маленьких розовых ножках были короткие котурны, состоявших из подошвы и двух полосок голубой кожи, пересекавшихся у щиколоток; выше щиколоток ноги были схвачены двумя серебряными ножными браслетами тончайшей чеканной работы.

Девушке этой было не более двадцати четырех лет. Она была хороша собой и изысканно одета; все в ней прельщало и манило. Казалось, Венера

Пафосская сошла с Олимпа, чтобы доставить наслаждение смертным лицезреть ее чудесную красоту.

Такова была юная Эвтибида, неподалеку от которой сел Марк Красс, с восторгом любовавшийся ею.

Когда к нему подошел Гортензий, Красс всей душой предавался созерцанию очаровательной девушки. Красавица же, явно скучая, в эту минуту зевала, открыв маленький ротик; правой рукой она играла сапфировой звездой, искрившейся на ее груди.

Крассу исполнилось тридцать два года; он был выше среднего роста и крепкого сложения, но склонен к тучности. На могучей шее сидела довольно крупная голова, гармонировавшая с мощным телом, но лицо, бронзово-золотистого оттенка, было худым; черты лица мужественные, чисто римского склада — орлиный нос, выдающийся, резко очерченный подбородок; глаза серые, с желтизной, — они то блестели необычайно ярко, то были неподвижны, бесцветны, как будто угасали. Родовитость, необычайное красноречие, огромное богатство, приветливость и учтивость завоевали ему не только известность, но и славу и влияние. К тому времени, с которого начинается наше повествование, он уже не раз доблестно сражался в гражданской войне на стороне Суллы и занимал различные административные посты.

— Здравствуй, Марк Красс, — сказал Гортензий, выводя его из состояния оцепенения. — Ты, видимо, погружен в созерцание звезд?

— Ты угадал, клянусь Геркулесом! — ответил Красс. — Эта...

— Эта? Которая?

— Вон та красавица гречанка, которая сидит двумя рядами выше нас...

— А! Я тоже заметил ее... Это Эвтибида.

— Эвтибида? Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. Я назвал тебе ее имя... Она действительно гречанка... куртизанка... — сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Крассом.

— Куртизанка? А по виду настоящая богиня. Сама Венера!.. Клянусь Геркулесом, я не могу представить более совершенного воплощения красоты прославленной дочери Юпитера.

— Ты прав, — улыбаясь, сказал Гортензий. — Но разве жена Вулкана так уж недоступна? Разве не дарит она щедро свои милости и сокровища своей красоты богам, полубогам, а временами даже и простым смертным, если кому-нибудь выпало счастье понравиться ей?

— А где она живет?

— На Священной улице... около храма Верхнего Януса.

Видя, что Красс не слушает его и, погружившись в свои мысли, все смотрит, как зачарованный, на прекрасную Эвтибиду, он добавил:

— Стоит ли тебе сходить с ума по этой женщине, когда тебе достаточно истратить одну только тысячную долю твоих богатств, чтобы подарить ей в собственность дом, в котором она живет!



— Это Эвтибида... Она действительно гречанка... куртизанка...

Глаза Красса вспыхнули огнем, каким они иногда загорались, но он тут же погас, и, обернувшись к Гортензию, Красс спросил:

— Тебе надо поговорить со мной?

— Да, о тяжбе с банкиром Трабулоном.

— Я слушаю тебя.

Пока они беседовали об упомянутой Гортензией тяжбе и пока Сулла, несколько месяцев назад похоронивший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, а теперь вновь попавший в сети Амура, затевал на пятьдесят девятом году жизни позднюю любовную игру с прекрасной Валерией, слышался звук трубы. Это был сигнал к началу боя между тридцатью фракийцами и тридцатью самнитами, уже построенными в ряды друг против друга.

Разговоры, шум, смех прекратились; все взоры были устремлены на сражающихся. Первое столкновение было ужасно: среди глубокой тишины, царившей в цирке, резко прозвучали удары мечей по щитам, по арене полетели перья, осколки шлемов, куски разбитых щитов, а возбужденные, тяжело дышавшие гладиаторы наносили друг другу удар за ударом. Не прошло и пяти минут после начала боя, а на арене уже лилась кровь: трое гладиаторов корчились на земле в агонии, а сражающиеся топтали их ногами.

Невозможно ни описать, ни вообразить себе напряжение, с которым зрители следили за кровавыми перипетиями этого боя. О нем можно составить себе лишь слабое представление, судя по тому, что восемьдесят тысяч человек из числа собравшихся в цирке бились об заклад на сумму от десяти до двадцати сестерциев и даже до пятидесяти талантов, смотря по своему состоянию, — одни держали пари за пурпурно-красных фракийцев, другие — за голубых самнитов.

По мере того как ряды гладиаторов редели, все чаще и чаще раздавались рукоплескания и громкие поощрительные возгласы.

По прошествии одного часа сражение уже подходило к концу. По всей арене то тут, то там лежали пятьдесят гладиаторов, убитые или смертельно раненные; умирающие корчились в судорогах агонии и испускали душевраздирающие крики.

Зрители, державшие пари за самнитов, казалось, могли быть вполне уверены в их победе. Семеро самнитов окружили и теснили трех оставшихся в живых фракийцев, последние же, тесно став спиной друг к другу, образовали треугольник и оказывали яростное сопротивление превосходящим силам самнитов.

Среди трех, еще живых, фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, поразительная сила крепких мышц, совершенная гармония всех линий тела, несокрушимая, непреодолимая храбрость, несомненно, должны

были выдвинуть этого человека, особенно в ту эпоху, когда физическая сила и твердость характера являлись главным условием успеха в жизни.

Спартаку исполнилось тридцать лет, и все те выдающиеся качества, о которых мы говорили, сочетались в нем с образованностью, редкой для его общественного положения, с возвышенным образом мыслей, благородством и величием души, блестящие доказательства которых он давал не раз.

Длинные белокурые волосы и густая борода обрамляли его красивое мужественное лицо с правильными чертами, озаренное светом голубых глаз, полных жизни, чувства, огня; они придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение какой-то печальной доброты. Но в бою Спартак совершенно преобразился: на арене цирка сражался гладиатор с искаженным от гнева лицом, глаза его метали молнии, вид его был ужасен.

Спартак родился во Фракии, в Родопских горах. Он сражался против римлян, вторгшихся в его страну, попал в плен и за свою силу и храбрость был зачислен в легион, где проявил необычайную доблесть. Затем он так отличился в войне против Митридата и его союзников, что был назначен деканом — начальником отряда из десяти человек, и заслужил почетную награду — гражданский венок. Но когда римляне снова начали войну против фракийцев, Спартак бежал и стал сражаться в рядах соотечественников против римлян. Раненный, он снова попал в плен к своим врагам; смертная казнь, предписанная законом, была заменена ему службой гладиатором. Он был продан одному ланисте, впоследствии перепродавшему его Акциану.

Прошло не более двух лет с тех пор, как Спартак попал в ряды гладиаторов; со своим первым ланистой он объездил почти все города Италии, участвовал более чем в ста боях и ни разу не был серьезно ранен. Другие гладиаторы тоже были мужественны и сильны, но Спартак настолько превосходил их, что постоянно оставался победителем и заслужил себе великую славу во всех амфитеатрах и цирках Италии.

Акциан купил его за очень большие деньги — двенадцать тысяч сестерций. Спартак принадлежал ему уже шесть месяцев, но Акциан ни разу не выпускал его в римских амфитеатрах — то ли потому, что высоко ценил как преподавателя фехтования, борьбы и гимнастики в своей школе гладиаторов, то ли потому, что он слишком дорого обошелся ему, чтобы рисковать его жизнью: в случае смерти Спартака плата за него не возместила бы понесенных ланистой убытков.

Теперь Акциан впервые выпустил Спартака на арену цирка, потому что Сулла заплатил за сто гладиаторов, отобранных для боя в этот день, огромную сумму — в двести двадцать тысяч сестерций и такая щедрая плата покрывала убыток, который ланиста мог понести в случае смерти Спартака. И все же, несмотря на то что гладиаторы, оставшиеся в живых после состязаний, поступали в собственность ланисты, исключая тех, кому народ да-

ровал свободу, Акциан, взволнованный и бледный, опершись на одну из дверей камеры, следил за последними моментами борьбы; для того, кто захотел бы понаблюдать за ним, конечно, не могло бы пройти незамеченным его беспокойство за Спартака. Он напряженно следил за каждым движением, за каждым ударом, нанесенным или отбитым фракийцем.

— Смелее, смелее, самниты! — кричали тысячи зрителей, державших за них пари.

— Бейте их! Рубите этих трех варваров!

— Задай им, Небулиан! Прикончи их, Крикс! Подминай, подминай, Порфирий! — кричали зрители, в руках которых были таблички с именами гладиаторов.

В ответ на эти выкрики гремел не менее мощный хор сторонников фракийцев; у них, правда, было мало надежды, но они храбро держались за единственную оставшуюся им соломинку. Спартак, еще не раненный, с неповрежденным щитом и шлемом, как раз в этот момент пронзил мечом одного из окруживших его самнитов. При этом взмахе меча раздался гром рукоплесканий и возгласы тысячи зрителей:

— Смелее, Спартак! Браво, Спартак! Да здравствует Спартак!

Двое других фракийцев, которые сражались бок о бок с бывшим римским солдатом, были оба тяжело ранены; они вяло наносили и вяло отражали удары, — силы их иссякли.

— Защищайте мне спину! — крикнул Спартак; размахивая с быстротою молнии своим коротким мечом, он вынужден был одновременно отражать удары мечей всех самнитов, дружно нападавших на него. — Защищайте мне спину!.. Еще немного... и мы победим!

Голос его прерывался, грудь порывисто вздымалась, по бледному лицу катились крупные капли пота. Глаза его сверкали: в них горела жажда победы, гнев, отчаяние...

Вскоре недалеко от Спартака, заливая арену своею кровью, упал другой самнит, раненный в живот, за ним тащились его кишки; он хрипел в агонии и, неистово ругаясь, слал проклятия. Вслед за ним свалился с разбитым черепом один из фракийцев, стоявших за спиной Спартака.

Весь цирк гудел от рукоплесканий, криков и возгласов; взоры всех зрителей были прикованы к сражающимся, ловили малейшее движение, малейший жест. Луций Сергей Катилина, вскочив, стоял рядом с Суллой; он едва дышал, не видел ничего, кроме этой кровавой бойни, и не отрываясь смотрел на меч Спартака, так как держал пари за фракийцев; казалось, нить его собственной жизни была связана с этим мечом.

Третий самнит, пораженный Спартаком в сонную артерию, последовал за своими товарищами, лежавшими на арене; в это же мгновение и фракиец — последняя и единственная поддержка Спартака, — пронзенный тремя мечами, упал мертвый, даже не вскрикнув.

По цирку пронесся гул огромной толпы, похожий на рев зверя; затем наступила такая тишина, что можно было ясно расслышать тяжелое, прерывистое дыхание гладиаторов. Нервное напряжение зрителей было так велико, что вряд ли оно могло быть сильнее, если бы даже от исхода этой схватки зависела судьба Рима.

Борьба уже длилась более часа. Спартак благодаря своей непостижимой ловкости и удивительному искусству фехтования получил только три легких раны, вернее — царапины, но теперь он оказался один против четырех сильных противников. Хотя все четверо были ранены более или менее тяжело и истекали кровью, все же они еще оставались грозными врагами, так как их было четверо.

Как ни был силен и отважен Спартак, однако после гибели своего последнего товарища он понял, что настал смертный час.

Вдруг глаза его загорелись; ему пришла в голову спасительная мысль: он решил воспользоваться старинной тактикой Горациев против Куриациев, — он бросился бежать. Самниты пустились вслед за ним.

Толпа загудела, словно пчелиный рой.

Не пробежав и пятидесяти шагов, Спартак вдруг сделал неожиданный поворот, обрушился на ближайшего преследователя и вонзил ему в грудь кривой меч. Самнит закачался, взмахнул руками, как будто ища опоры, и упал, а в это время Спартак, набросившись на второго врага и отражая щитом удары его меча, уложил его на месте под восторженные крики зрителей, ибо теперь уже почти все были на стороне фракийца.

Как только самнит упал, подоспел его товарищ — третий, весь покрытый ранами, самнит. Спартак ударил его щитом по голове, не считая нужным пустить в ход меч и, видимо, не желая убивать его. Оглушенный ударом, самнит перевернулся и рухнул на арену. В это время на помощь ему поспешил последний из его товарищей, совсем уже выбившийся из сил. Спартак напал на него и, стараясь не наносить ран, несколькими ударами обезоружил противника, выбив из его рук меч, потом охватил его своими мощными руками, повалил на землю и прошептал ему на ухо:

— Не бойся, Крикс, я надеюсь спасти тебя...

Он стал одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой на грудь самнита, которого оглушил ударом щита; в этой позе он ждал решения народа.

Единодушные, долгие и громовые рукоплескания, словно гул от подземного толчка, прокатились по всему цирку! Почти все зрители подняли вверх кулак, подогнув большой палец — обоим самнитам была дарована жизнь.

— Какой храбрый человек! — сказал, обращаясь к Сулле, Катилина, по лбу которого градом катился пот. — Такому сильному человеку надо было родиться римлянином!

Между тем слышались сотни возгласов:

— Свободу храброму Спартаку!



Он стал одной ногой на грудь Крикса, а коленом другой на грудь самнита, которого оглушил ударом щита; в этой позе он ждал решения народа.

Глаза гладиатора засверкали необычным блеском; он побледнел как полотно и приложил руку к сердцу, как бы желая унять его бешеные удары, вызванные этими словами, этой надеждой.

— Свободу, свободу! — повторяли тысячи голосов.

— Свобода! — прошептал еле слышно гладиатор. — Свобода!.. О боги Олимпа, не допустите, чтобы это оказалось сном! — И ресницы его увлажнились слезами.

— Нет, нет! Он бежал из наших легионов, — раздался громкий голос, — нельзя давать свободу дезертиру!

И тогда многие из зрителей, проигравшие пари из-за отваги Спартака, закричали с ненавистью:

— Нет, нет! Он дезертир!

По лицу фракийца пробежала судорога. Он резко повернул голову в ту сторону, откуда раздался обвинительный возглас, и стал искать глазами, в которых сверкала ненависть, того, кто бросил это обвинение.

Но тысячи и тысячи голосов кричали:

— Свободу, свободу, свободу Спартаку!..

Невозможно описать чувства гладиатора в те минуты, когда решался вопрос всей его жизни; тревога, мучительное ожидание отразились на его бледном лице, в игре мускулов и блеске глаз, которые красноречиво говорили о происходившей в нем борьбе отчаяния и надежды. Этот человек, полтора часа боровшийся со смертью и ни на одну секунду не терявший присутствия духа, человек, который сражался один против четверых и не терял надежды на спасение, гладиатор, убивший двенадцать или четырнадцать своих товарищей по несчастью, не обнаруживая при этом своего волнения, вдруг почувствовал, что у него подкосились ноги, и, чтобы не упасть без чувств на арене цирка, он оперся о плечо одного из лорариев, явившихся убирать трупы.

— Свободу, свободу! — продолжала неистовствовать толпа.

— Он ее достоин! — сказал на ухо Сулле Катилина.

— И он удостоится ее! — воскликнула Валерия, которой в эту минуту восхищенно любовался Сулла.

— Вы этого хотите? — произнес Сулла, вопросительно глядя в глаза Валерии, светившиеся любовью, нежностью, состраданием: казалось, она умоляла о милости к гладиатору. — Хорошо. Да будет так!

Сулла склонил голову в знак согласия, и Спартак получил свободу под шумные рукоплескания зрителей.

— Ты свободен! — сказал лорарий Спартаку. — Сулла даровал тебе свободу.

Спартак не отвечал, не двигался и боялся открыть глаза, чтобы не улетела мечта, страшился обмана и не решался поверить своему счастью.

— Злодей, ты разорил меня своей храбростью! — прошептал кто-то над его ухом.

От этих слов Спартак очнулся, открыл глаза и посмотрел на ланисту Акциана, — хозяин Спартака явился на арену вместе с лорариями поздравить гладиатора, надеясь, что тот останется его собственностью. Теперь же Акциан проклинал храбрость фракийца: глупейшее милосердие народа и великодушные Суллы лишили его двенадцати тысяч сестерций.

Слова ланисты убедили фракийца в том, что это не сон. Он встал, величественно выпрямился во весь свой гигантский рост, поклонился — сначала Сулле, потом народу и через двери, ведущие в камеры, ушел с арены под новый взрыв рукоплесканий.

— Нет, нет, не боги создали все окружающее, — как раз в эту минуту сказал Тит Лукреций Кар, возобновляя беседу, которую он вел с юным Кассием и молодым Гаем Меммием Гемеллом, своим близким другом, сидевшим во время зрелища рядом с ним. Гай Меммий Гемелл страстно любил литературу, искусство и увлекался философией. Впоследствии Лукреций посвятил ему свою поэму «De rerum naturae» («О природе вещей»), над которой он размышлял уже в это время.

— Но кто же тогда создал мир? — спросил Кассий.

— Вечное движение материи и соединение невидимых молекулярных тел. Ты ведь видишь на земле и на небе массу возникающих тел и, не понимая скрытых производящих начал, считаешь, что все они созданы богами. Никогда ничто не могло и не может возникнуть из ничего.

— Что же такое тогда Юпитер, Юнона, Сатурн? — спросил пораженный Кассий, которому очень нравилось слушать рассуждения Лукреция.

— Да это все порождение людского невежества и страха. Я познакомлю тебя, милый мой мальчик, с единственно верным учением — с учением великого Эпикура, который не страшился ни грома небесного, ни землетрясений, наводящих на людей ужас, ни могущества богов, ни воображаемых молний. Борясь с закоренелыми предрассудками, он, полный нечеловеческой отваги, осмелился проникнуть в самые сокровенные тайны природы и в ней открыл происхождение и природу вещей.

В эту минуту воспитатель Кассия напомнил ему о приказании отца вернуться домой засветло и стал торопить его. Мальчик послушно встал; за ним поднялись Лукреций и Меммий, и все они стали спускаться по ступенькам к ближайшему запасному выходу. Однако, чтобы попасть туда, Кассий и его друзья должны были пройти мимо того места, где сидел Фавст, сын Суллы; около него стоял, ласково разговаривая с ним Помпей Великий, который, оставив оппидум, пришел сюда приветствовать знакомых матрон и друзей. Кассий пробежал было мимо него, но вдруг, круто остановившись, сказал, обращаясь к Фавсту:

— А ну-ка, Фавст, повтори при таком знаменитом гражданине, как Помпей Великий, безумные свои слова, которые ты произнес третьего дня в школе. Ты ведь говорил, что твой отец очень хорошо поступил, что отнял свободу у римлян и стал тираном нашей родины. Мне бы хотелось это

услышать от тебя еще раз. За эти слова я расшиб тебе кулаком лицо, и синяки еще не прошли у тебя. Теперь я при самом Помпее вздую тебя еще раз, да покрепче!

Такие слова и действия двенадцатилетнего мальчика, его решительность и железная воля не под стать худосочным и безвольным людям, которыми так богато наше время. Кассий напрасно ждал от противника ответа: Фавст склонил голову перед удивительным мужеством мальчика, который не побоялся поколотить и обругать сына властителя Рима, побуждаемый пламенной любовью к свободе, горевшей в его доблестном сердце. И Кассий, почтительно поклонившись Помпею, а также Меммию и Лукрецию, удалился из цирка со своим воспитателем.

Как раз в это время из рядов, расположенных над Воротами смерти, выходил юноша лет двадцати шести, одетый в очень длинную, длиннее обычного, тогу, которая закрывала его худые и тонкие ноги. Он был высок ростом и обладал величественной, внушительной внешностью, хотя лицо у него было болезненное и нежное. Встав со скамьи, он простился со своей соседкой, молодой женщиной, окруженной поклонниками — юными патрициями и изысканно одетыми щеголями.

— Прощай, Галерия, — сказал юноша, целуя руку красавице.

— Прощай, Марк Туллий, — ответила она. — Не забудь, послезавтра в театре Аполлона дают «Электру» Софокла, и я там участвую. Приходи.

— Приду обязательно.

— Будь здоров! Прощай, Туллий! — послышалось одновременно несколько голосов.

— Прощай, Цицерон, — сказал, пожимая ему руку, красивый и осанистый человек лет пятидесяти пяти, нарумяненный и надушенный.

— Да покровительствует тебе Талия, искуснейший Эзоп, — ответил юноша, пожимая руку великому актеру.

Подойдя к очень красивому человеку лет сорока, сидевшему рядом с Галерией, он также пожал ему руку, промолвив при этом:

— Да реют над тобой все девять муз, непревзойденный Квинт Росций, любимейший из друзей моих.

Цицерон отошел медленно, с изысканной вежливостью пробираясь сквозь толпу, заполнившую все проходы, направился к тому месту около Триумфальных ворот, где, как он заметил, сидели два племянника Марка Порция Катона Цензора.

Группа зрителей, с которыми простился Марк Туллий Цицерон, состояла из служителей искусства: Галерии Эмболарии, красивой двадцатитрехлетней женщины и самой выдающейся актрисы того времени, выступавшей преимущественно в трагических ролях; известного трагического актера Эзопа, несмотря на свои пятьдесят пять лет всегда надушенного, нарумяненного и нарядного, и его соперника — Квинта Росция, великого актера, заставлявшего своей игрой плакать, смеяться и чувствовать заодно

с ним весь римский народ; он сидел рядом с Эмболарией. Это к нему относился прощальный привет Цицерона, исполненный горячей дружбы. Росцию недавно исполнилось сорок лет. Его дарование достигло полного расцвета, он был уже очень богат. Его боготворил весь Рим, самые именитые граждане гордились дружбой с ним; Сулла, Гортензий, Цицерон, Помпей, Лукулл, Квинт Метелл, Цецилий Пий, Сервилий Ватий Исаврийский, Марк Красс, Корнелий Скрибониан, Курион, Публий Корнелий Сципион Африканский наперебой приглашали его, осыпали ласками и перевозносили не только как искуснейшего актера, но и как человека доблестного и одаренного; это искреннее и восторженное преклонение было особенно ценно, потому что исходило от великих людей, возвышавшихся умом и духом над обыденной толпой.

Вокруг трех знаменитых актеров группировались звезды меньшей величины из артистической плеяды, пленявшей в те годы римскую публику, которая толпами шла в театры смотреть трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и Пакувия и комедии Аристофана, Менандра, Филемона и Плавта.

Вокруг Эмболарии, Эзопа, Росция и их сотоварищей теснились назойливые поклонники, тупые бездельники, одержимые манией величия, глупейшим тщеславием и жаждой впечатлений и сильных ощущений.

До какой степени дошло в ту пору в Риме поклонение актерам, можно легко понять по их огромным доходам и их богатству. Достаточно сказать, что Росций зарабатывал по тысяче денариев за спектакль, а в год это составляло сто сорок шесть тысяч денариев.

Марк Туллий Цицерон, пройдя ряды, отделявшие его от Катона и Цепиона, подошел к ним и, после дружеского приветствия, сел рядом, вступив в разговор с Катоном, к которому испытывал большое расположение.

Марку Туллию Цицерону, как мы уже говорили, в это время было двадцать шесть лет, он был молод, хорош собой и имел величавый облик, несмотря на свое болезненное, слабое телосложение. У него была длинная шея, мужественное лицо с выразительными, энергичными и правильными чертами, необычайно широкий лоб, сообразно его могучему уму, густые взъерошенные брови, из-под которых сверкали большие глаза; он был близорук. На его губах совершенной формы почти всегда играла улыбка, зачастую улыбка ироническая, но даже в самой иронии своей носившая отпечаток добродушия. Одаренный прозорливым умом, блестящей памятью и красноречием, Цицерон благодаря упорному, прилежному труду, которому он отдавался с большой любовью, в двадцать шесть лет прославился одновременно как философ, как оратор и как блестящий, всеми признанный поэт.

Цицерон изучал поэтику еще в очень молодые годы у греческого поэта Архия, которого он защищал впоследствии в одной из своих знаменитых речей. Архий пользовался громкой известностью благодаря своему поэтическому дарованию и душевным качествам; в ту пору он жил в доме вели-

кого Лукулла, победителя Митридата и Тиграна, обучая его детей искусству стихосложения; одновременно он открыл в Риме школу, которую посещали молодые люди из патрицианских семей. Ко времени нашего повествования Архий сочинил и опубликовал поэму «О войне кимвров», где превозносил отважного Гая Мария, единственного из всех римлян, который в период республики семь раз избирался консулом.

Доблестные подвиги Гая Мария не только доставили ему честь победы над Югуртой, но спасли также республику от губительного нападения тевтонов и кимвров, и он удостоился наименования третьего основателя Рима.

Еще будучи учеником в школе Архия, пятнадцатилетний Цицерон написал поэму «Главк Понтий», которая плавностью стиха и красотой стиля заставила заговорить о нем; тогда еще не было Лукреция, Катулла, Вергилия, Овидия, Горация, обогативших латинский язык своими дивными поэтическими творениями.

Посещение школы Архия не мешало Цицерону усердно слушать лекции — сначала философа-эпикурейца Федра, потом стоика Диодота и академика Филона, бежавших из Афин, которыми завладел Митридат; он слушал замечательные лекции по красноречию, которые читал в Риме в течение двух лет знаменитый Молон Родосский, прибывший на берега Тибра, чтобы исхлопотать у сената возмещение издержек, понесенных городом Родосом, сражавшимся на стороне римлян в войне против Митридата. Красноречие Молона было столь необыкновенным, что он первым получил разрешение выступать в сенате на греческом языке без посредничества переводчика.

Цицерон с большим усердием изучал законоведение под руководством обоих братьев Сцевола, сенаторов и ученых юристов: старший был авгуром, младший — верховным жрецом. Они обучали его самым тонким приемам и тайнам юриспруденции.

Когда ему было только восемнадцать лет, он участвовал в Марсийской, или союзнической, войне под началом Помпея Великого, и, как он сам потом рассказывал, его поражала храбрость и постоянные удачи Суллы.

За два года до описываемых событий Марк Туллий впервые появился на Форуме и произнес речь в защиту Квинтия. Некий кредитор, которого защищал знаменитый Гортензий, требовал у Квинтия возврата своего имущества. Цицерон, будучи еще в самом начале своей карьеры, решительно отказывался выступать против грозного Гортензия, но актер Росций, с которым он был очень дружен, просил за своего родственника Квинтия. Цицерон согласился и выступил; он говорил столь убедительно и так обворожил судей, что выиграл тяжбу.

Потом Цицерон выступил с большим подъемом в защиту прав одной гражданки из Арретия против декрета Суллы, по которому жители Арретия были лишены прав гражданства. Цицерон, по характеру скорее робкий

и нерешительный, говорил с большим мужеством, и в этом сказалась его душевная чистота и честность. Дело это наделало много шума.

Но речь, явившаяся венцом славы юного Туллия и доставившая ему огромную известность, была им произнесена в защиту Секста Росция Амери́йского, обвинявшегося отпущенником Суллы Корнелием Хрисогоном в отцеубийстве. Защитительная речь Цицерона была необыкновенно страстной, живой, убедительной и красноречивой. Росций Амери́йский был оправдан, а Цицерона объявили достойным соперником Гортензия, — он на этот раз выступал противником Гортензия и одержал над ним победу.

В те дни среди различных слоев населения Рима ходила по рукам поэма Цицерона. Она еще больше усилила всеобщее восхищение одаренностью ее автора; Цицерону суждено было в дальнейшем вознести латинский язык на недостижимую высоту своими произведениями, и трудно сказать, чем следует в них больше восхищаться: теоретической ли глубиной, чистотой нравственного чувства, величием мыслей, блеском стиля или же очарованием формы, отличающейся аттическим изяществом.

Поэма, о которой мы упомянули, называлась «Марий»; от нее дошел до нас лишь небольшой фрагмент. Несмотря на явные олигархические воззрения, которых до этого придерживался автор, поэма была написана в честь Гая Мария, родившегося, как и Цицерон, в Арпине, и безмерно им почитаемого.

Мы должны просить прощения у наших читателей за частые отступления, но они вызываются как самой темой, так и необходимостью давать наброски портретов выдающихся людей последнего века свободного Рима, отличавшихся либо мужеством и добродетелями, либо мрачными и ужасными пороками, либо чудесными деяниями; и, право, не лишним будет освежить в памяти внуков, утративших мужество и идущих к вырождению, исторические воспоминания об их дедах.

Теперь же восстановим прерванную нить нашего повествования.

— Неужели, о великие боги, то, что рассказывают о тебе, правда? — спросил с удивлением Цицерон юного Катона.

— Да, правда, — отвечал, насупившись, мальчик. — А разве я не был прав?

— Ты был прав, храбрейший из юношей, — тихо ответил Цицерон, целуя Катона в лоб, — но, к сожалению, не всегда возможно громко говорить правду, нередко право должно уступить силе.

И оба на секунду замолчали.

— Но как же случилось, что?.. — спросил Туллий Сарпедона, наставника обоих юношей.

— Из-за ежедневных убийств, совершавшихся по приказанию Суллы, — прервал его Сарпедон, — я должен был раз в месяц бывать у диктатора с двумя своими воспитанниками, для того чтобы Сулла, при его безумной страсти к истреблению, относился к ним благосклонно, считал их в числе своих друзей и чтобы ему в голову не пришла шальная мысль занести их в про-

скрипционные списки. Сулла действительно всегда принимал их благо-склонно и, обласкав обоих мальчиков, отпускал с приветливыми словами. Как-то раз, выйдя от него и пересекая Форум, мы услышали душераздирающие стоны, доносившиеся из-под сводов Мамертинской тюрьмы...

— И я спросил у Сарпедона, — прервал его Катон: — «Кто это кричит?» — «Это граждане, которых убивают по приказу Суллы», — ответил он мне. «За что же их убивают?» — спросил я. «За то, что они любят свободу и преданы ей».

— Тогда этот безумец, — сказал Сарпедон, в свою очередь прерывая Катона, — сказал мне изменившимся голосом и очень громко, так что, к несчастью, слышали все окружающие: «Почему ты не дал мне меч, ведь я мог несколько минут назад убить этого лютого тирана моей родины?»

Немного помолчав, Сарпедон прибавил:

— Так как слух об этом дошел до тебя...

— Многие слышали об этом, — ответил Цицерон, — и говорят с восторгом о мужестве мальчика...

— А если, на беду его, это дойдет до Суллы? — воскликнул в отчаянии Сарпедон.

— Что мне до того? — презрительно произнес, нахмутив брови, Катон. — Все, что я сказал, я могу повторить и в присутствии того, перед кем вы все трепещете. Хотя я еще очень молод, клянусь всеми богами Олимпа, меня он не заставит дрожать!

Цицерон и Сарпедон, пораженные, переглянулись, а мальчик с воодушевлением воскликнул:

— Если бы на мне была уже тога!

— Что же ты тогда сделал бы, безумец? — спросил Цицерон, но тут же добавил: — Да замолчишь ли ты наконец!

— Я бы вызвал на суд Луция Корнелия Суллу и всенародно предъявил ему обвинение...

— Замолчи, замолчи же! — воскликнул Цицерон. — Ты всех нас хочешь погубить! Я неразумно воспевал подвиги Мария, я защищал на двух процессах моих клиентов, которые не были приверженцами Суллы, и, разумеется, не снискал этим расположения бывшего диктатора. Неужели ты хочешь, чтобы из-за твоих безумных слов мы последовали за неисчислимыми жертвами его свирепости? А если нас убьют, избавим ли мы тем самым Рим от мрачного могущества тирана? Ведь страх оледенил в жилах римлян их древнюю кровь, тем более что Сулле действительно сопутствуют счастье и удача, — и он всемогущ...

— Вместо того чтобы называться *Счастливым*, лучше бы ему именоваться *Справедливым*, — ответил Катон уже шепотом, повинувшись настоятельным увещаниям Цицерона, и, бормоча что-то, он мало-помалу успокоился.

В это время андабаты развлекали народ фарсом — кровавым, мрачным фарсом, участники которого, все двадцать злосчастных гладиаторов, должны были расстаться с жизнью.

Сулла уже пресытился зрелищем, он был занят одной-единственной мыслью, завладевшей им; он встал и направился туда, где сидела Валерия, любезно поклонился, лаская ее долгим взглядом, которому постарался придать, насколько мог, выражение нежности, покорности, приветливости, и спросил:

— Ты свободна, Валерия?

— Несколько месяцев назад я была отвергнута мужем, но не по какой-либо постыдной причине, напротив...

— Я знаю, — ответил Сулла, на которого Валерия смотрела ласково и влюбленно своими черными глазами.

— А меня, — спросил бывший диктатор после минутной паузы, — меня ты полюбила бы?

— От всей души, — ответила Валерия, опустив глаза, и обворожительная улыбка приоткрыла ее чувственные губы.

— Я тоже люблю тебя, Валерия. Мне кажется, никогда еще я так не любил, — произнес Сулла дрожащим от волнения голосом.

Оба умолкли. Бывший диктатор Рима взял руку красавицы-матроны и, горячо поцеловав ее, добавил:

— Через месяц ты будешь моей женой.

И в сопровождении своих друзей он покинул цирк.





Глава третья **ТАВЕРНА ВЕНЕРЫ ЛИБИТИНЫ**

На одной из самых дальних узких и грязных улиц Эсквилина, около старинной городской стены времен Сервия Туллия, а именно между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами, находилась открытая днем и ночью, а больше всего именно ночью, таверна, названная именем Венеры Либитины, или Венеры Погребальной, — богини мертвых, смерти и погребения. Таверна эта, вероятно, называлась так потому, что близ нее с одной стороны было маленькое кладбище для плебеев, все усеянное зловонными мелкими могилами, — тут хоронили покойников как попало, а с другой стороны, вплоть до базилики Сестерция, тянулось поле, куда бросали трупы слуг, рабов и самых бедных людей; лишь волки да коршуны справляли по ним тризну. На этом смрадном поле, заражавшем воздух окрестностей, на этой тучной от человеческих трупов земле полвека спустя баснословно богатый Меценат насадил свои знаменитые огороды и сады; и как это легко можно себе представить, они приносили обильный урожай. Эти сады и огороды поставляли к столу их владельца прекрасные овощи и чудесные фрукты, выросшие на земле, удобренной костями плебеев.

Над входом в таверну находилась вывеска с изображением Венеры, более похожей на отвратительную мегеру, чем на богиню красоты, — очевид-

но, ее рисовал незадачливый художник. Фонарь, раскачиваемый ветром, освещал эту жалкую Венеру, но она ничуть не выигрывала оттого, что ее можно было лучше рассмотреть. Все же этого скудного освещения было достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих к высохшей буковой ветке, прикрепленной над входом в таверну, и несколько рассеять мрак, царивший в этом грязном переулке.

Войдя в маленькую, низкую дверь и спустившись по камням, небрежно положенным один на другой и служившим ступеньками, посетитель попал в дымную, закопченную и сырую комнату.

Направо от входа, у стены, находился очаг, где ярко пылал огонь и готовились в оловянной посуде разные кушанья, среди которых была традиционная кровяная колбаса и неизменные битки; никто не пожелал бы узнать, из чего они делались. Готовила всю эту снедь Лутация Одноглазая, хозяйка и распорядительница этого заведения.

Рядом с очагом, в небольшой открытой нише, стояли четыре терракотовые статуэтки, изображавшие ларов — покровителей домашнего очага; в их честь горела лампада и лежали букетики цветов и венки.

У очага стоял небольшой, весь перепачканный столик и скамейка некогда красного цвета с позолотой; на ней сидела Лутация, хозяйка таверны, в минуты, свободные от обслуживания посетителей.

Вдоль стен, направо и налево, а также перед очагом расставлены были старые обеденные столы, а вокруг них — длинные топорные скамьи и колченогие табуретки.

С потолка свешивалась жестяная лампада в четыре фитиля, которая вместе с огнем, шумно горевшим в очаге, рассеивала тьму, царившую в этом подземелье.

В стене напротив входной двери была пробита дверь, которая вела во вторую комнату, поменьше и чуть почище первой. Какой-то, видимо, не очень стыдливый художник для забавы разрисовал в ней стены самыми непристойными картинами. В углу горел светильник с одним фитилем, слабо освещавший комнату; в полумраке виден был только пол и два обеденных ложа.

Десятого ноября 675 года, около часа первого факела, в таверне Венеры Либитины было особенно много народу, — шум и гам наполняли не только лачугу, но и весь переулок. Лутация Одноглазая вместе со своей рабыней, черной, как сажа, эфиопкой, суетилась, стараясь удовлетворить раздававшиеся одновременно со всех сторон шумные требования проголодавшихся посетителей.

Лутация Одноглазая, сорокапятилетняя женщина, высокая, сильная, плотная и краснощекая, с изрядной проседью в каштановых волосах, была в молодости красавицей. Но лицо ее обезобразил шрам, шедший от виска до носа, у которого был отхвачен край одной ноздри. Шрам проходил че-

рез вытекший правый глаз, веко его закрывало пустую глазницу. За это уродство Лутацию много лет называли «монокола», то есть одноглазая.

История этой раны относится к давним временам. Лутация была женой легионера Руфино, больше года храбро сражавшегося в Африке против Югурты. Когда Гай Марий победил этого царя и Руфино вместе с Марием вернулся в Рим, Лутация была в расцвете красоты и не во всем подчинялась предписаниям, касающимся брака и изложенным в Законах двенадцати таблиц. В один прекрасный день муж приревновал ее к мяснику, свежавшему по соседству свиней, выхватил меч и прикончил его, затем ударом меча вбил в голову жене, что необходимо соблюдать указанные законы; память об этом осталась у нее навеки. Руфино думал, что убил ее. Боясь, что придется отвечать перед квесторами — не столько за смерть жены, сколько за убийство мясника, как за убийство «родственника», — он поспешил в ту же ночь уехать. Сражаясь под начальством боготворимого им полководца Гая Мария, он был убит во время памятного боя при Аквах Секстиевых, где доблестный уроженец Арпина, разбив наголову тевтонские орды, спас Рим от величайшей опасности.

Через много месяцев оправившись от ужасной раны, Лутация собрала все свои сбережения, кое-какие даяния и сколотила небольшую сумму, на которую могла купить обстановку для таверны. Прибегнув к великодушию Квинта Цецилия Метелла Нумидийского, она получила в дар эту жалкую лачугу.

Несмотря на свое обезображенное лицо, услужливая и веселая Лутация еще привлекала некоторых посетителей; не раз из-за нее происходили драки.

Заходили в таверну Венеры Либитины бедняки — плотники, гончары, кузнецы, а также самые отпетые забулдыги: могильщики, атлеты из цирка, комедианты и шуты самого низкого пошиба, гладиаторы и нищие, притворившиеся калеками, распутные женщины.

Но Лутация Одноглазая не отличалась щепетильностью и не обращала внимания на всякие тонкости, — тут ведь было не место для менял, всадников и патрициев. К тому же добродушная Лутация думала, что по воле Юпитера солнце сияет на небе одинаково как для богатых, так и для бедных, и если для богачей открыты винные и пирожные лавки, трактиры и гостиницы, то и бедняки должны иметь свои кабаки. А кроме того, Лутация успела убедиться, что квадрант, асс и сестерций из кармана бедняка или какого-нибудь мошенника ничем не отличаются от таких же монет зажиточного горожанина или надменного патриция.

— Лутация, черт возьми, скоро ты подашь эти проклятые битки? — орал старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.

— Ставлю сестерций, что Лувений доставляет ей с Эсквилинского поля мертвечину, недоеденную воронами. Вот из какого мяса Лутация готовит

свои дьявольские битки! — кричал нищий, сидевший рядом со стариком гладиатором.

Громкий хохот раздался в ответ на зловещую шутку нищего, притворявшегося калеккой. Однако могильщику Лувению, коренастому толстяку с багровым и угреватым лицом, выразившим тупое равнодушие, не пришлось по вкусу шутка нищего, и в отместку он громко заявил:

— Лутация, послушай честного могильщика: когда готовишь битки для этого чумазого Велления (так звали нищего), клади в них тухлую говядину — ту самую, которую он привязывает веревкой к своей груди и выдает за кровавые раны. Никаких ран у него и в помине нет, только надувает сердобольных людей, чтобы ему подавали побольше.

За этой репликой последовал новый оглушительный взрыв хохота.

— Не будь Юпитер лентяем и не спи он так крепко, уж он истратил бы одну из своих молний и мигом испепелил бы тебя! Прощай тогда могильщик Лувений, бездонный, зловонный бурдюк!

— Клянусь черным скипетром Плутона, я так отделаю кулаками твою варварскую рожу, таких шишек насажаю, что тебе не придется и обманывать людей, попрошайка, будешь молить о жалости по праву.

— А ну подойди, подойди, пустомеля! — вскочив с места, вопил во все горло нищий, потрясая кулаками. — Подойди. Я тебя живо отправлю к Харону и, клянусь крыльями Меркурия, прибавлю тебе из своих денег еще одну медную монетку: всажу ее тебе в твои волчьи зубы, держи крепче!

— Перестаньте вы, старые клячи! — заревел Гай Тауривий, огромного роста атлет из цирка, увлеченный игрой в кости. — Перестаньте, а не то, клянусь всеми богами Рима, я так вас стукну друг о дружку, что перебью все ваши трухлявые кости и превращу вас в трепаную коноплю!

К счастью, в эту минуту Лутация Одноглазая и ее рабыня — эфиопка Азур внесли и поставили на стол два крупнейших блюда, наполненные дымящимися битками. На них с жадностью набросились две самые большие компании из числа собравшихся в таверне.

Сразу воцарилась тишина. Удачники, первыми получившие еду, придя в веселое настроение, пожирали битки и находилистряпню Лутации превосходной. А в это время за другими столами играли в кости, перемешивая игру с грубым богохульством и разговорами на злободневную тему — о бое гладиаторов в цирке, на котором посчастливилось присутствовать кое-кому из посетителей, являвшихся свободными гражданами. Они рассказывали чудеса на удивление тем, кто принадлежал к сословию рабов и не допускался на зрелища в цирк. Все превозносили до небес мужество и силу Спартака.

Лутация сновала взад и вперед, подавала на столы колбасу. Мало-помалу в таверне Венеры Либитины установилась тишина.

Первым нарушил молчание старый гладиатор.

— Я двадцать два года бился в амфитеатрах и цирках, — громко сказал он. — Меня, правда, немножко продырявили, распороли и опять сшили, а все-таки я спас свою шкуру, значит, храбростью и силой меня не обидели боги. Но, скажу вам, я еще не встречал и не видывал такого гладиатора, такого силача и такого фехтовальщика, как Спартак Непобедимый!

— Родись он римлянином, — добавил покровительственным тоном атлет Гай Тауривий (сам он родился в Риме), — его можно было бы возвести в герои.

— Как жаль, что он варвар! — воскликнул Эмилий Варин, красивый юноша лет двадцати, хотя его лицо уже избородили морщины — явные следы развратной жизни, состарившей его прежде времени.

— Ну и счастливцев же этот Спартак! — заметил старый легионер, сражавшийся в Африке; лоб его пересекал широкий рубец, а из-за раны в ноге он охромел. — Хоть он и дезертир, а ему даровали свободу! Слышанное ли дело! Сулла, видно, был в добром расположении — вот и расщедрился!

— Вот, должно быть, злился ланиста Акциан! — сказал старый гладиатор.

— Да, он всем плакался: ограбили, разорили, погубили!..

— Ничего, за свой товар он получил звонкой монетой!

— Да, надо правду сказать, товар был хорош! Такие молодцы — один лучше другого!

— Кто же спорит, товар был хорош, но и двести двадцать тысяч сестерциев тоже деньги немалые.

— Да еще и какие! Клянусь Юпитером Статором!

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул атлет. — Мне бы их, эти денежки! Как мне хочется познать власть золота во всяческих делах, в которых наши чувства могут получить удовлетворение с помощью денег!

— Ты?.. А мы-то что же? Ты думаешь, Тауривий, мы не сумели бы вкушать наслаждение, заполучив двести двадцать тысяч сестерциев?

— Сорить деньгами нетрудно, да не всякий умеет скопить их.

— Только вы уж не убеждайте меня, что Сулле трудом достались его богатства!

— Он начал с того, что получил наследство от одной женщины... из Никополя...

— Она уже была в годах, когда влюбилась в него; а он был тогда еще млад и если не красив, то уж, наверно, не так уродлив, как теперь.

— Умирая, она завещала ему все свои богатства.

— А в молодости он был беден. Я знал одного гражданина, у которого Сулла долго жил в доме на хлебах, — сказал атлет, — он получал три тысячи сестерциев в год.

— В войне с Митридатом, при осаде и взятии Афин Сулла сумел захватить львиную долю добычи. Вот тогда он приумножил свое богатство.

А потом наступили времена проскрипций, и по приказу Суллы убито было семнадцать консулов, шесть преторов, шестьдесят эдилов и квесторов, триста сенаторов, тысяча шестьсот всадников и семьдесят тысяч граждан. И как вы думаете, куда пошло все их имущество? Прямо в казну? А Сулле так-таки ничего и не перепало?

— Хотелось бы мне получить хотя бы самую малую толику того, что ему досталось во времена проскрипций!

— И все же, — задумчиво сказал Эмилий Варин, хорошо образованный юноша, склонный в этот вечер пофилософствовать, — пусть Сулла из бедняка превратился в богача, пусть он возвысился из неизвестности и стал диктатором Рима, триумфатором, пусть ему воздвигли золотую статую перед рострами с надписью: «Корнелий Сулла Счастливый, император». А все же этот всемогущий человек страдает неизлечимой болезнью, которую не в силах победить ни золото, ни науки.

Слова эти произвели глубокое впечатление на весь собравшийся здесь сброд; и все единодушно воскликнули:

— Да, верно, верно!..

— Так ему и надо! — со злобой крикнул хромой легионер, сражавшийся в войсках Гая Мария в Африке и благоговевший перед его памятью. — Поделом ему! Пускай помучится. Он бешеный зверь, чудовище в человеческом обличье! Это ему зачлась пролитая им кровь шести тысяч самнитов. Они сдались Сулле при условии сохранения им жизни, и все эти шесть тысяч человек были умерщвлены в цирке. Когда в них метали там стрелы, сенаторы, собравшиеся в курии Гостилия, услышав душераздирающие крики несчастных, в страхе вскочили с мест, а Сулла преспокойно продолжал свою речь и лишь холодно заметил сенаторам, чтобы они слушали его внимательно и не беспокоились по поводу того, что происходит снаружи: там просто дают, по его приказу, урок кучке негодяев.

— А резня в Пренесте, где он, за исключением человека, связанного с ним узами гостеприимства, за одну ночь, не щадя ни пола, ни возраста, перебил все злосчастное население города — двенадцать тысяч человек!

— Не он ли разрушил и сровнял с землей Сульмон, Сполетий, Интерамну, Флоренцию — самые цветущие города Италии, за то, что они были приверженцами Мария и нарушили верность Сулле?

— Эй, ребята, замолчите! — крикнула Лутация; она сидела на скамейке и клала на сковороду зайчатину, которую собиралась жарить. — Вы, сдается мне, хулите диктатора Суллу Счастливого? Предупреждаю, держите язык за зубами! Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего гражданина Рима!

— Так вот оно что! Оказывается, косоглазая-то — сторонница Суллы! Ах ты, проклятая! — воскликнул старый легионер.

— Эй ты, Меттий, — заорал могильщик Лувений, — говори с уважением о нашей любезной Лутации!

— Клянусь щитом Беллоны, ты у меня замолчишь!

Вот еще новость! Какой-то могильщик смеет приказывать африканскому ветерану!

Неизвестно, чем бы закончилась эта новая перепалка, как вдруг с улицы послышался нестройный хор женских голосов, безобразно фальшививших, но явно претендовавших на хорошее пение.

— Это Эвения, — заметил один из гостей.

— Это Луцилия.

— Это Диана.

Все взгляды устремились на дверь, в которую входили, горланя и танцуя, пять девиц в чересчур коротких одеяниях; лица их были нарумянены, плечи обнажены. Непристойными словами отвечали они на шумные приветствия.

Мы не будем останавливаться на сцене, последовавшей за появлением этих несчастных, отметим лучше то усердие, с которым Лутация и ее рабыня накрывали на стол, — судя по приготовлениям, ужин обещал быть роскошным.

— Кого это ты ждешь сегодня вечером в свою харчевню, для кого жарить драных кошек и хочешь выдать их за зайцев? — спросил нищий Веллений.

— Не ждешь ли ты, часом, к ужину Марка Красса?

— Нет, она ждет самого Помпея Великого!

Смех и остроты продолжались, как вдруг в дверях таверны появился человек огромного роста и могучего телосложения; хотя волосы у него уже были с сильной проседью, он все еще был хорош собой.

— А, Требоний!

— Здравствуй, Требоний!

— Добро пожаловать, Требоний! — послышалось одновременно из разных углов таверны.

Требоний был ланистой; несколько лет назад он, закрыл свою школу и жил на сбережения, скопленные от этого прибыльного занятия. Но привычка и склонность тянули его в среду гладиаторов, и он был завсегдаем всех дешевых трактиров и кабаков Эсквилина и Субуры, в которых шумно веселились эти пасынки судьбы.

Поговаривали, что он, несмотря на то что гордился происхождением из гладиаторов и связью с ними, продавал свои услуги и патрициям: во время гражданских смут ему поручали нанимать большое число гладиаторов. Говорили, что под началом Требония были целые полчища гладиаторов, во главе которых он появлялся то на Форуме, то в комициях, когда обсуждался какой-нибудь важный вопрос и кое-кому выгодно было навести страх



Все взгляды устремились на дверь, в которую входили, горланя и танцующая, пять девиц в чересчур коротких одеяниях; лица их были намяты, плечи обнажены.

на судей или создать замешательство, а подчас и затеять драку во время выборов судей или же должностных лиц. Утверждали, что Требоний извлекал большую выгоду из своих встреч с гладиаторами.

Как бы то ни было, Требоний был их другом и покровителем, и в этот день, по окончании зрелищ в цирке, на которых он, как всегда, присутствовал, он дождался Спартака у входа, обнял его, расцеловал и, поздравив, пригласил на ужин в таверну Венеры Либитины.

Требоний пришел в таверну Лутации в сопровождении Спартака и десятка других гладиаторов.

Спартак все еще был в той пурпурной тунике, в которой сражался в цирке. На плечи его был накинут плащ, покороче тоги; солдаты обычно подобные плащи носили поверх доспехов. Спартак получил этот плащ во временное пользование у одного центуриона, друга Требония.

Завсегдатаи таверны встретили гостей шумными приветствиями. Побывавшие в тот день в цирке с гордостью показывали другим героя дня, мужественного Спартака.

— Отважный Спартак, представляю тебе прекрасную Эвению, самую красивую из всех красоток, посещающих эту таверну, — сказал старик-гладиатор.

— Счастлива, что могу обнять тебя, — добавила Эвения, высокая, стройная брюнетка, не лишенная известной привлекательности. И, не дожидаясь ответа, она обвила обеими руками шею Спартака и поцеловала его.

Фракиец постарался улыбкой скрыть неприятное чувство, которое вызвало у него поведение девушки; отведя ее руки и мягко отстраняя от себя Эвению, он сказал:

— Благодарю тебя, девушка... Сейчас я предпочитаю подкрепить свои силы... я в этом очень нуждаюсь...

— Сюда, сюда, доблестный гладиатор, — сказала Лутация, опережая Спартака и Требония и приглашая их в другую комнату, — тут для вас приготовлен ужин. Идите, идите, — добавила она, — твоя Лутация, Требоний, позаботилась о тебе. Угощу тебя отменным жарким: такого зайца не подадут к столу даже у Марка Красса!

— Что ж, попробуем, оценим твои кушанья, плутовка ты эдакая! — отвечал Требоний, легонько похлопывая Лутацию по плечу. — А пока что подай нам амфору старого велитернского. Только смотри, старого!

— Всеблагие боги! — воскликнула Лутация, заканчивая приготовления к ужину, когда гости сели за стол. — Всеблагие боги! Он еще предупреждает — «старого»! Да я самого лучшего приготовила!.. Подумать только!.. Пятнадцатилетней выдержки! Такое вино, что хранится со времен консульства Гая Целия Кальда и Луция Домиция Агенобарба!

Пока Лутация занимала гостей, ее рабыня, эфиопка Азур, принесла амфору. Она сняла печать, которую гости принялись рассматривать, переда-

вая ее один другому, и налила часть вина в высокий сосуд из толстого стекла, до половины наполненный водой, а остаток вина перелила из амфоры в меньший сосуд, предназначенный для чистого, неразбавленного вина. Оба сосуда Азур поставила на стол, а Лутация перед каждым из гостей поставила чаши. Между сосудами она поместила черпак, им наливали в чаши чистое или разбавленное вино.

Вскоре гладиаторы получили возможность оценить искусство Лутации, приготовившей жаркое из зайца, а также решить, сколько лет насчитывало вино. Если велитернское и не вполне соответствовало дате, помещенной на амфоре, когда ее запечатывали, все же вино было признано выдержанным и весьма недурным.

Ужин удался, вина было вволю, гладиаторы веселились от души. Все располагало к дружеской беседе и оживлению, и вскоре действительно стало очень шумно.

Один только Спартак, которого осыпали восторженными похвалами, не разделял общего веселья, не шутил, ел как бы нехотя, — быть может, он все еще был во власти пережитого за этот день и не успел прийти в себя от ошеломляющего сознания нежданно обретенной свободы. Казалось, над его головой нависло облако печали и тоски, — и ни острой шуткой, ни ласковым словом сотрапезникам не удавалось разогнать его грусть.

— Клянусь Геркулесом... милый Спартак, я не могу понять тебя!.. — обратился к нему Требоний и хотел было налить велитернского в чашу Спартака, но заметил, к своему удивлению, что она полна. — Что с тобою? Почему ты не пьешь?

— Отчего ты такой грустный? — спросил один из гостей.

— Клянусь Юноной, матерью богов! — воскликнул другой гладиатор, судя поговору — самнит. — Можно подумать, что мы собрались не на товарищескую пирушку, а на поминальную тризну. И ты, Спартак, как будто празднуешь не свою свободу, а оплакиваешь смерть своей матери!

— Матери! — с громким вздохом повторил Спартак, словно потрясенный этими словами.

И так как он опечалился еще больше, бывший ланиста Требоний встал и, подняв свою чашу, воскликнул:

— Предлагаю выпить за свободу!

— Да здравствует свобода! — дружно закричали гладиаторы; при одном этом слове у них засверкали глаза. Все встали и высоко подняли свои чаши.

— Ты счастлив, Спартак, что добился свободы при жизни, — с горечью сказал белокурый молодой гладиатор, — а к нам она придет только вместе со смертью!

При возгласе «свобода» лицо Спартака прояснилось; улыбаясь, он высоко поднял свою чашу и звучным сильным голосом воскликнул:

— Да здравствует свобода!

Но печальные слова молодого гладиатора так взволновали его, что он не мог допить чашу — вино не шло ему в горло, и Спартак скорбно опустил голову. Он поставил чашу и сел, погружившись в глубокое раздумье. Наступило молчание, глаза десяти гладиаторов были устремлены на счастливого, получившего свободу, в них светилась зависть и радость, веселье и печаль.

Вдруг Спартак прервал молчание. Задумчиво устремив неподвижный взгляд на стол, медленно отчеканивая слова, он произнес вслух строфу знакомой всем песни, — ее обычно пели гладиаторы в часы фехтования в школе Акциана:

Рожденный на воле
В доме родном,
Ныне цепью до боли
Он закован врагом
И лишается жизни
Не на благо отчизне,
Не за родину бьется,
И словно из кратера,
Как вино мутно льется
Кровь гладиатора.

— Наша песня! — шептали удивленно и радостно некоторые из гладиаторов.

Глаза Спартака засияли от счастья, но тотчас, как бы желая скрыть свою радость, причину которой не мог уяснить себе Требоний, Спартак опять помрачнел. Он задал вопрос своим сотрапезникам:

— Из какой вы школы гладиаторов?

— Ланисты Юлия Рабеция.

Спартак взял свою чашу и, с равнодушным видом выпив вино, произнес, повернувшись к выходу, словно обращаясь к служанке, входившей в эту минуту:

— Света!

Гладиаторы переглянулись, а молодой белокурый самнит промолвил с рассеянным видом, как будто продолжая прерванный разговор:

— И свободы!.. Ты ее заслужил, храбрый Спартак!

И тут Спартак обменялся с ним быстрым выразительным взглядом — они поняли друг друга.

Как раз в то мгновение, когда юный гладиатор произносил эти слова, раздался громкий голос какого-то человека, появившегося в дверях:

— Ты заслужил свободу, непобедимый Спартак!

Все повернули головы и увидели у порога могучую фигуру неподвижно стоявшего человека в широкой пенуле темного цвета: то был Луций Сер-

гий Катилина. При слове «свобода», которое подчеркнул Катилина, Спартак и все гладиаторы, за исключением Требония, остановили на нем вопрошающий взгляд.

— Катилина! — воскликнул Требоний; он сидел спиной к дверям и не сразу заметил вошедшего.

Он поспешил навстречу Катилине, почтительно поклонился ему и, по обычаю, поднеся в знак приветствия руку к губам, сказал:

— Привет тебе, славный Катилина!.. Какой доброй богине, нашей покровительнице, обязаны мы честью видеть тебя среди нас в такой час и в таком месте?

— Я искал тебя, Требоний, — ответил Катилина, — а также и тебя, — добавил он, повернувшись к Спартаку.

Услышав имя Катилины, известного всему Риму своей жестокостью, убийствами, силой и отвагой, гладиаторы переглянулись; некоторые, надо заметить, испугались и побледнели. Даже сам Спартак, в груди которого билось бесстрашное сердце, невольно вздрогнул, услышав голос грозного патриция; нахмурив лоб, он пристально смотрел на Катилину.

— Меня? — спросил удивленный Спартак.

— Да, именно тебя, — спокойно ответил Катилина, сев на скамью, которую ему пододвинули, и сделал знак, приглашая всех садиться. — Я не думал встретить тебя тут, даже и не надеялся на это, но я был почти уверен, что застану здесь Требония и он научит меня, как найти отважного и доблестного Спартака.

Спартак с еще большим изумлением смотрел на Катилину.

— Тебе дали свободу, и ты достоин ее. Но у тебя нет денег, чтобы прожить до той поры, пока ты найдешь заработок. А так как благодаря твоей храбрости я выиграл больше десяти тысяч сестерциев, держа пари с Гнеем Корнелием Долабеллой, я и искал тебя, чтобы вручить тебе часть выигрыша. Она твоя: если я рисковал деньгами, то ты в продолжение двух часов рисковал своей жизнью.

Среди присутствующих пробежал шепот одобрения и симпатии к этому аристократу, который снизошел до встречи с презираемыми всеми гладиаторами, восторгался их подвигами и помогал им в их бедах.

Спартак, не питая доверия к Катилине, был тем не менее тронут участием, проявленным к нему столь высокой особой, — он отвык от такого отношения к себе.

— Благодарю тебя, о славный Катилина, за твое благородное намерение! — ответил он. — Однако я не могу, не имею права принять твой дар. Я буду преподавать приемы борьбы, гимнастику и фехтование в школе моего прежнего хозяина и, надеюсь, проживу своим трудом.

Катилина постарался отвлечь внимание сидевшего рядом с ним Требония и, протянув ему свою чашу, приказал разбавить велитернское водой, а



Все повернули головы и увидели у порога могучую фигуру неподвижно стоявшего человека в широкой пенуле темного цвета: то был Луций Сергей Катилина.

сам тем временем наклонился к Спартаку и едва слышным шепотом торопливо сказал:

— Ведь и я терплю притеснение олигархов, ведь я тоже раб этого мерзкого, растленного римского общества, я тоже гладиатор среди этих патрициев, я тоже мечтаю о свободе... и знаю все...

Спартак, вздрогнув, откинул голову и посмотрел на него с выражением недоумения, а Катилина продолжал:

— Да, я знаю все... и я с вами... буду с вами... — А затем, поднявшись со своего места, он произнес громким голосом, чтобы все его слышали: — Ради этого ты и не отказывайся принять кошелек с двумя тысячами сестерциев в красивых новеньких ауреях. — И, протянув Спартаку изящный маленький кошелек, Катилина добавил: — Повторяю, это вовсе не подарок, ты заработал эти деньги, они твои; это твоя доля в нашем сегодняшнем выигрыше.

Все присутствующие осыпали Катилину почтительными похвалами, восхищаясь его щедростью, а он взял в свою руку правую руку Спартака, и при этом рукопожатии гладиатор встрепенулся.

— Теперь ты веришь, что я знаю все? — спросил его вполголоса Катилина.

Спартак был поражен, он никак не мог понять, откуда патрицию известны некоторые тайные знаки и слова, — но ясно было, что Катилина действительно их знает; поэтому он ответил Луцию Сергию рукопожатием и, спрятав кошелек на груди под туникой, сказал:

— Сейчас я слишком взволнован и озадачен твоим поступком, благородный Катилина, и плохо могу выразить тебе благодарность. Завтра утром, если разрешишь, я явлюсь к тебе, чтобы излить всю свою признательность.

Произнося медленно и четко каждое слово, он испытующе взглянул на патриция. В ответ Катилина наклонил голову в знак понимания и сказал:

— У меня в доме, Спартак, ты всегда желанный гость. А теперь, — добавил он, быстро повернувшись к Требонию и к другим гладиаторам, — выпьем чашу фалернского, если оно водится в такой дыре.

— Если уж моя ничтожная таверна, — любезно сказала Лутация Одноглазая, стоявшая позади Катилины, — удостоилась чести принять в своих убогих стенах такого высокого гостя, такого прославленного патриция, как ты, Катилина, то, видно, сами боги-провидцы помогли мне: в погребке бедной Лутации Одноглазой хранится маленькая амфора фалернского, достойная пирушественного стола самого Юпитера.

И, поклонившись Луцию Сергию, она ушла за фалернским.

— А теперь выслушай меня, Требоний, — обратился Катилина к бывшему ланисте.

— Слушаю тебя со вниманием.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Письмо Дж. Гарибальди</i>	5
<i>Глава первая. Щедроты Суллы</i>	7
<i>Глава вторая. Спартак на арене</i>	23
<i>Глава третья. Таверна Венеры Либитины</i>	43
<i>Глава четвертая. Что делал Спартак, получив свободу</i>	63
<i>Глава пятая. Триклиний Катилины и конклав Валерии</i>	83
<i>Глава шестая. Угрозы, заговоры и опасности</i>	101
<i>Глава седьмая. Как смерть опередила Демофила и Метробия</i>	128
<i>Глава восьмая. Последствия смерти Суллы</i>	149
<i>Глава девятая. О том, как некий пьяница вообразил себя спасителем республики</i>	178
<i>Глава десятая. Восстание</i>	206
<i>Глава одиннадцатая. От Капуи до Везувия</i>	237
<i>Глава двенадцатая. О том, как благодаря своей прозорливости и ловкости Спартак довел число своих сторонников с шестисот человек до десяти тысяч</i>	254
<i>Глава тринадцатая. От Казилинского до Аквинского сражения</i>	273
<i>Глава четырнадцатая, в которой среди многих различных чувств преобладающим оказалась гордость ликтора Симплициана</i>	295
<i>Глава пятнадцатая. Спартак разбивает наголову другого претора и преодолевает большие искушения</i>	333
<i>Глава шестнадцатая. Лев у ног девушки. — Посол, понесший наказание</i>	356
<i>Глава семнадцатая. Арторикс — странствующий фокусник</i>	377
<i>Глава восемнадцатая. Консулы на войне. — Сражение под Камерином. — Смерть Эномая</i>	404
<i>Глава девятнадцатая. Битва при Мутине. — Мятежи. — Марк Красс действует</i>	427
<i>Глава двадцатая. От битвы при горе Гарган до похорон Крикса</i>	451
<i>Глава двадцать первая. Спартак среди луканцев. — Сети, в которые попал сам птицелов</i>	477
<i>Глава двадцать вторая. Последние сражения. — Прорыв при Бранане. — Смерть</i>	504
<i>Заключение</i>	534